

ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ



ЗОЛОТОЙ
ЛОСЁНОК

Ярослав Золотарёв

Золотой лосёнок

<https://litres.ru/74641468>

SelfPub; 2026

Аннотация

1930 год. Альтернативная история: после Гражданской войны Сибирь стала демократической республикой с парламентом, свободной прессой и судом присяжных. Но мировой кризис обрушил цены на масло, жалование платят облигациями, а три партии в думе не могут договориться даже о цвете чернил.

Остап Бендер возвращается. На этот раз его цель — миллион скромного счетовода Корейко. Вместе с ним в погоню пускаются Шура Балаганов, «нарушитель конвенции» Паниковский и шофёр Козлевич на автомобиле «Сайгак-ага», собранном из чего попало. Их путь лежит от Барабинских степей до Тихого океана.

Только вот великий комбинатор быстро выясняет: украсть миллион в правовом государстве можно, а потратить нельзя. Здесь каждому нужен паспорт, на всё — декларация, а на сопках уже маячит «условный противник» в круглых очках.

Продолжение «12 сибирских стульев». Ильф и Петров по-сибирски: смешно, узнаваемо и неожиданно грустно.

Содержание

Глава I. О том, как Паниковский нарушил конвенцию	6
1.	6
2.	9
3.	13
4.	17
5.	25
6.	31
7.	34
Глава II. Тридцать сыновей Потанина	38
1.	38
2.	41
3.	44
4.	53
5.	57
6.	62
7.	65
Глава III. Бензин ваш — идеи наши	69
1.	69
2.	74
3.	76
4.	80
5.	83

6.	87
7.	92
8.	97
Глава IV. Обыкновенный чемоданишко	102
1.	102
2.	106
3.	108
4.	111
5.	116
6.	120
7.	126
Глава V. Подземное царство	129
1.	129
2.	131
3.	133
4.	136
5.	141
6.	145
7.	149
8.	152
Глава VI. Автопробегом — по кризису и бездорожью	155
1.	155
2.	159
3.	161
4.	165

5.	170
6.	174
7.	178
Глава VII. Сладкое бремя славы	181
1.	181
2.	187
3.	190
4.	192
5.	194
6.	199
Глава VIII. Кризис жанра	203
1.	203
2.	206
3.	209
4.	212
5.	218
6.	222
7.	226
8.	229
9.	231
Конец ознакомительного фрагмента.	233

Ярослав Золотарёв

Золотой лосёнок

Глава I. О том, как Паниковский нарушил конвенцию

1.

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют большую часть человечества, а в Сибири — подавляющую. Мало того, лучшую его часть. Это пешеходы прошли Сибирь от Камня до Тихого океана, когда никаких экипажей здесь не было и в помине. Это они срубили остроги, проложили тракт, поставили города, открыли в Томске университет, изобрели пельмени, маслоартель и земское страхование от пожара. Ермак был пешеходом, хотя и плавал на стругах. Дежнёв был пешеходом, хотя и плавал на кочах. Все сибирские землепроходцы, как видно из самого их наименования, проходили землю ногами.

И когда всё было готово, когда сибирская земля приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Они пришли около двадцать пятого года, вместе с американским кредитом. Автомобиль продавался в рассрочку на двадцать четыре месяца, и первый взнос был так мал, что его, казалось, можно было внести из одного только чувства собственного достоинства. «Форды» и «Шевроле» покатали по трактам. В них сидели кооператоры, земские агрономы, зубные врачи, председатели маслоартелей и молодые люди, которым никто бы не доверил даже велосипеда. Кротких и умных пешеходов стали давить. Сибирские куры, никогда не видевшие ничего быстрее ямщицкой тройки, гибли сотнями, не успев понять, что произошло. Пешеход прижался к заборам. В уездных городах на столбах появились эмалированные знаки, значения которых не знал никто, включая поставившее их земство.

Но осенью двадцать девятого года в Нью-Йорке, на улице с подходящим названием Уолл-стрит, что в переводе значит «Стенная», что-то упало.

Сибирь долго не могла понять, что именно. Сначала подешевело масло. Потом подешевело всё, что делают из молока, потом всё, что делают из хлеба, а потом и сам хлеб. Потом приехали люди из банков. Агент Сибирско-Американского общества автомобильного кредита ехал по тракту на последнем непроданном «Форде» и собирал остальные, как пастух собирает разбежавшееся стадо. За ним тянулся печальный караван отобранных машин, а за караваном, держась на почтительном расстоянии, шли бывшие владельцы. Они шли

пешком.

И Сибирь снова стала пешеходной. Бывшие автомобилисты научились здороваться со своими бывшими жертвами. Куры вернулись на середину дороги. Эмалированные знаки на столбах остались, и теперь, когда некому было их нарушать, их значение стало окончательно непонятным.

Пешеход снова хозяин сибирских улиц.

Вот идёт он из Владивостока в Томск по Великому Сибирскому тракту, держа в руках знамя с надписью «ПОКУПАЙ СИБИРСКОЕ!», а на плече — палку, на конце которой болтаются запасные валенки и жестяной чайник без крышки. Знамя куплено в рассрочку у владивостокского кооператива «Тихоокеанская нить», и на каждой большой станции пешехода ждёт податной инспектор с описью. Но пешеход движется быстрее инспектора: инспектору надо оформлять командировку. Пешеход рассчитывает дойти к открытию осенней сессии думы и вручить знамя лично президенту Вологодскому. Дойдёт он, вероятно, к весенней.

2.

Станционный пейзаж одинаков во всём мире.

Подъезжая к Риму, путешественник видит такие же семафоры, какие запирают вход в Иркутск. Подтягиваясь к Мюнхену, Чикаго или Харбину, поезда минуют одни и те же водокачки с подвижными хоботами, одни и те же круглые депо и мастерские с мелкими оконными переплётами, где обязательно выбито несколько стёкол. Одно лишь отличает сибирскую станцию от всех станций земного шара: деревянная будка с большой вывеской «КИПЯТОКЪ». Твёрдый знак на этой вывеске пережил войну, революцию, Учредительное собрание и две орфографические реформы, потому что кипятку орфография безразлична, а пассажиру безразлично всё, кроме кипятку.

Когда смешанный товарно-пассажирский поезд, беспокойно посвистывая, покинул станцию Каинск, единственный высадившийся на перрон пассажир посмотрел по сторонам с несколько ироническим любопытством. Он увидел то, что мог бы увидеть на подступах к Вене или Рио-де-Жанейро и что множество раз видел у ворот больших и малых сибирских городов.

На вокзальном фронте висела вывеска, крупно: «КАИНСКЪ», а под ней, мелкими свежими буквами: «(впредь до переименования)».

Пассажиру было лет тридцать три. Он был в костюме цвета молодой травы, порядочно выгоревшем на плечах, в парусиновых туфлях без носков и в фуражке с белым верхом, какие по большей части носят администраторы летних садов и конференсье. Шею его обматывал японский шарф, когда-то цвета хурмы, а теперь цвета хурмы, пролежавшей зиму на подоконнике. Шарф был повязан высоко и плотно, хотя погода стояла жаркая. Под шарфом имелся шрам, о происхождении которого молодой человек не рассказывал никому, а если рассказывал, то каждый раз по-разному. Больше при нём ничего не было. Не было даже чемодана.

Он повернулся спиной к постылым железнодорожным деталям, щёлкнул ногтем по станционному колоколу и, сопровождаемый ангельским звоном, вышел на площадь.

Такой площади путешественник не увидел бы ни в Вене, ни в Рио. Площадь была покрыта одной сплошной лужей, оставшейся от недавнего дождя, и, по-видимому, от всех дождей текущего столетия. Навстречу приезжему, с противоположного края лужи, двигался гигантский мужчина, несший на плечах даму с корзиной. Мужчина осторожно погружал в жижу босые ноги. Подойдя к вокзалу, гигант снял с плеч свою ношу, бережно поставил её на ступеньку, получил медную монету и вернулся к краю лужи, где стояла воткнутая в грязь фанерная дощечка. На дощечке было написано чернильным карандашом:

«ПЕРЕНОС ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДЬ. Дамы — 3 коп. Мужчи-

ны — 5 коп. С поклажей — по соглашению. Гласные уездного земского собрания — бесплатно (по постановлению)».

Пассажир, с интересом следивший за действиями человека-парома, вежливо снял фуражку и спросил:

— А есть в городе, кроме вас, ещё какие-нибудь перевозочные средства? Механические экипажи? Таратайки? Конно-железная дорога? Метрополитен?

— Был «Форд», — ответил верзила, подумав. — Банк увёз. Ещё в декабре.

— А автобус?

— И автобус увёз. Он тоже был в рассрочку.

— Трамвай?

— Трамвай в Омске, — сказал гигант с некоторой гордостью за отечество. — И в Томске, говорят, скоро будет. А у нас — я.

Приезжий оглядел перевозчика с тем профессиональным интересом, с каким опытный ювелир смотрит на крупный, но плохо огранённый камень. Перевозчик был не только огромен, но и как-то неуместно солиден. В нём чувствовалась привычка стоять на трибуне и выслушивать отчёты ревизионной комиссии.

— Вы, гражданин, судя по осанке, не всегда работали паромом.

— Не всегда, — согласился гигант без обиды. — Я был председатель маслоартели «Барабинская заря». Тридцать шесть дворов, сепараторы шведские, медаль на Копенгаген-

ской выставке. Наше масло, гражданин, ели в Лондоне. С королевского стола.

— А теперь?

— А теперь в Лондоне кризис. Король, говорят, перешёл на маргарин. Ну, и нас за компанию... — Он махнул ручищей в сторону лужи, давая понять, что маргарин и лужа связаны неразрывной экономической связью. — Вас нести?

— Как вы меня понесёте? — осведомился приезжий. — По тарифу для мужчин или с поклажей?

— А поклажа где?

— Поклажа у меня в голове, — сказал молодой человек. — Идеи. Но они лёгкие, это я вам гарантирую. Несите по мужскому.

И, отсчитав из глубины кармана последние пять копеек, он сел на могучие плечи бывшего председателя «Барабинской зари» с непринуждённостью человека, всю жизнь ездившего на бывших председателях.

Посреди лужи гигант вдруг остановился и спросил снизу:

— А вы, извиняюсь, к нам по какому делу? Не из банка?

— Не волнуйтесь, — ответил седок. — Я по семейному делу. У меня здесь родственники.

— Кто же?

— Пока не знаю, — сказал приезжий честно. — Сейчас найду.

3.

Город Каинск стоит на реке Оми, посреди Барабинской степи, и знаменит тремя вещами: маслом, озёрами и названием.

Маслом он был знаменит до осени двадцать девятого года. Озёрами — всегда, но этим никто не гордился, потому что озёр в Барабе больше, чем жителей, и гордиться было бы всё равно что гордиться воздухом. Названием же Каинск был знаменит против своей воли.

Ещё при царе каинские купцы просили переименовать город, потому что ездить по делам и называть себя каинцами было неловко: в Москве собеседник сразу спрашивал, куда они девали брата. Царь не ответил. После революции, в девятнадцатом году, просьбу подали в Сибирскую думу. Дума прошение приняла и передала в согласительную комиссию, потому что каждая из трёх партий тут же внесла своё название. Эсеры предлагали «Вольнобарабинск». Областники — «Потанинск». Социал-демократы, верные духу индустриализации, — «Маслозаводск», что было тогда очень современно, а теперь, после краха масла, стало звучать как издевательство. За одиннадцать лет согласительная комиссия рассмотрела вопрос двадцать шесть раз и двадцать шесть раз отложила его «до выяснения позиции фракций». Тем временем город на всякий случай перекрасил вывеску на вокзале и

стал жить «впредь до переименования», как живёт человек, которому обещали квартиру.

Великий комбинатор (ибо это был он) шёл по главной улице и читал город, как читают свежую газету: быстро, с интересом и ничему не веря.

Улица называлась Проспектом Свободной Сибири. Она была застроена деревянными домами с резными наличниками и редкими каменными, оставшимися от купцов. На площади, друг против друга, стояли собор и синагога, оба старые, оба с облупленной штукатуркой. Прихожане собора и прихожане синагоги лет сорок соревновались, чей храм благолепнее. Но в кризис обе общины помирились и вместе подали в земство прошение о ремонте общей мостовой. Прошение рассматривалось. Мостовая между храмами была самым экуменическим местом во всей Барабе, потому что ломали ноги на ней одинаково все конфессии.

Солнце ломилось в витрины. В витрине магазина «Всё для учреждений. Вывески, таблички, печати» были выставлены эмалированные дощечки с надписями:

«Закрыто на ревизию».

«Ликвидация».

«Конкурсное управление».

«Опись имущества произведена».

«Продаётся с торгов».

«Платежи временно приостановлены».

И в самом углу, под слоем пыли, лежала одна маленькая

синяя дощечка со словом «Открыто». Её не купил за весь кризис никто. По-видимому, эти решительные тексты — все, кроме последнего, — пользовались в городе Каинске наибольшим спросом.

Рядом, на дверях отделения Сибирского кооперативного банка, висела бумажка, отпечатанная на машинке: «Платежи временно приостановлены. Паника не нужна. Правление». Под этим кто-то вывел мелом: «А что нужно?» Ответа правление не дало.

На заборах висели плакаты. Одни, совсем новые, призывали: «ПОКУПАЙ СИБИРСКОЕ! Сибирский рубль — твёрдый, как сибиряк!» На других, постарше, румяный кооператор с сепаратором обнимал румяную корову, и подпись гласила: «Масло — золото Сибири!» Поверх коровы уже облупилась краска, и было видно, что когда-то под ней висел ещё более старый плакат, где румяный солдат обнимал румяную винтовку. Плакаты наслаивались друг на друга, как геологические эпохи, и в каждом заборе Каинска можно было прочесть всю новейшую историю республики, если иметь терпение и скребок.

Великий комбинатор не имел ни того, ни другого. Он хотел есть.

На бульваре имени Ядринцева, под чахлыми тополями, сидели девушки с толстыми книгами на коленях. Это были абитуриентки, готовившиеся к экзаменам на томские Высшие женские курсы. Они рассеянno перелистывали «Анато-

мию человека» и «Сибирь как колонию» и шевелили губами, подсчитывая — то ли латинские названия костей, то ли, что было вернее, сколько придётся заплатить за обучение, если масло не подорожает к осени.

В другое время Остап Бендер, чувствительный ко всему прекрасному, не оставил бы девушек без внимания. Ему нравились провинциалки с их стремлением ко всему возвышенному и с их полной неподготовленностью к встрече с ним. Но сейчас было не до возвышенного.

Он миновал бульвар и вышел к двухэтажному каменному дому с колоннами, бывшему дому купца Шкроева. На доме висела вывеска «КАИНСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА», а над входом — бело-зелёный флаг, выцветший до такой степени, что тайга на нём сравнялась со снегом.

Остап поправил шарф и вошёл.

4.

Приёмная председателя управы была полна.

На скамьях вдоль стен сидели просители. Бывшие маслоделы в праздничных пиджаках ждали отсрочки по ссудам. Вдова в чёрном платке ждала пенсии за мужа, утонувшего в Оми при исполнении обязанностей бакенщика. Старик с длинной бумагой ждал третий год ответа на прошение о переименовании города и пришёл узнать, не вышел ли ответ, пока он болел. Секретарь управы, худой молодой человек с университетским значком, сидел за барьером и с ненавистью смотрел на всех сразу.

— По какому вопросу? — спросил он.

— По семейному, — ответил Остап и посмотрел на секретаря так, как смотрят на человека, который через пять минут будет страшно жалеть о своём тоне.

Секретарь почему-то встал и открыл дверь.

Кабинет председателя был обставлен с той скромностью, которая в уездных учреждениях заменяет вкус. По примеру Сибирской думы управа завела жёсткие венские стулья, чтобы гласные быстрее соглашались. Соглашаться быстрее гласные не стали, но стали быстрее расходиться, и председатель считал это достижением. Стоял стол, покрытый зелёным сукном с чернильными архипелагами. Стоял шкаф с «Собранием узаконений Сибирской республики». На сте-

не висел большой портрет Потанина — с бородой, в которую, казалось, можно было завернуть всю Барабинскую степь. Под портретом тянулся кумачовый лозунг, написанный белыми буквами:

«МЫ ВСЕ — ДЕТИ ПОТАНИНА».

Остап прочёл лозунг, улыбнулся и понял, что пришёл по адресу.

За столом сидел председатель — Кузьма Ильич Брусницын, человек лет шестидесяти, лысый, с аккуратной бородкой и глазами доброго сельского учителя, которым он и был тридцать лет до того, как земство вытащило его из волостной школы и усадило в это кресло. В молодости, в девяносто первом году, Кузьма Ильич слушал в Томске лекцию Потанина о сибирских инородцах и после лекции пожал ему руку. Это было главное событие его жизни. Он рассказывал о нём на каждом земском собрании, на каждом юбилее и на каждых похоронах, и каинцы давно знали рассказ наизусть, но всё равно не перебивали, потому что Кузьма Ильич всякий раз в одном и том же месте плакал.

— Слушаю вас, — сказал председатель, отрываясь от бумаг.

Посетитель сел на венский стул так, будто это было кресло в Дворянском собрании, и посмотрел на лозунг.

— У вас над столом написано: «Мы все — дети Потанина», — сказал он задумчиво. — Это правда, Кузьма Ильич. Это глубокая правда. Но некоторые из нас... в большей сте-

пени.

— Простите?

Посетитель помолчал. Потом понизил голос, как понижают его в церкви и на врачебном консилиуме.

— Я сын Григория Николаевича.

Председатель снял очки, протёр их, снова надел и посмотрел сначала на посетителя, потом на портрет.

— Но... — сказал он растерянно. — Позвольте... У Григория Николаевича детей не было...

— Официально — не было, — мягко согласился посетитель.

Наступило молчание. В приёмной за дверью кашлянула вдова бакенщика.

— Вы, конечно, знаете, — продолжал посетитель тем же тихим, почти исповедальным голосом, — что в девяносто третьем году отец потерял Александру Викторовну. Она умерла в экспедиции, в Китае, на его руках.

— Знаю, — прошептал председатель. — Как же не знать.

— Он вернулся в Россию вдовым и одиноким. Был в Кяхте, разбирал коллекции. Там, в Кяхте, в девяносто седьмом году, и родился я. Мать моя — простая женщина, дочь кяхтинского почтмейстера. Отец о моём существовании не знал. Мать не хотела ему мешать. Она понимала, что он принадлежит не ей и не мне, а всей Сибири.

Кузьма Ильич медленно положил ручку на сукно.

— Он узнал обо мне только в девятнадцатом году, — ска-

зал посетитель и посмотрел в окно, где над бульваром плыли облака. — Восьмого января. В Томске. На открытии Учредительного собрания. Я стоял на хорах. После заседания пробился к нему. Сказал. Он долго смотрел на меня, потом положил руку мне на голову и сказал только: «Ну вот... дожили».

Председатель вздрогнул всем телом.

Он был на хорах в тот день. Он слышал своими ушами, как восьмидесятитрёхлетний Потанин открыл Учредительное собрание самой короткой речью в истории сибирского парламентаризма: «Ну вот, господа, дожили». Он двенадцать лет пересказывал эту речь на всех собраниях. И теперь эти три слова, произнесённые совсем по другому поводу, вошли в него, как гвоздь в мягкое дерево.

— Дожили... — повторил Кузьма Ильич, и на глазах у него выступили слёзы. Те самые, которые каинцы знали наизусть.

— Простите, а как ваше имя? — спросил он, справившись с собой.

— Николай. Николай Григорьевич.

— А фамилия?

— Фамилия по матери. Самойлов. Отец хотел дать мне свою, но я отказался. Тень его имени — слишком тяжёлая тень, Кузьма Ильич. Каждый должен сам зажечь своё солнце. Это его слова.

— Его, — подтвердил председатель, глотая слёзы. — Его слова.

«Действительно, — думал он, с любовью глядя на воодушевлённое лицо гостя, — глохнешь тут за работой. Ссуды, мостовая, переименование... А рядом — живая история».

— Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно, — сказал Николай Григорьевич, переходя к делу с той лёгкостью, с какой опытный ямщик переводит лошадей с рыси на шаг. — Дорожная неприятность. Остался без копейки. Последний пятак отдал перевозчику у вокзала. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но вы понимаете... Сын Потанина просит денег у частника, у бывшего купца, который теперь называется кооператором... Это было бы не совсем удобно с принципиальной точки зрения.

Последние слова он произнёс с надрывом.

— И очень правильно сделали, что не обратились к частнику! — воскликнул председатель. — Для этого есть закон!

Он встал, подошёл к шкафу, вынул толстый том в коленкоровом переплёте и, послунив палец, нашёл нужную страницу.

— Вот. «Собрание узаконений Сибирской республики», тысяча девятьсот двадцать пятый год, номер двести четырнадцатый. Закон «О вспомоществовании семействам деятелей сибирского освобождения». Принят думой единогласно. Областники внесли, эсеры поддержали, социал-демократы воздержались, а потом тоже поддержали, когда им объяснили, что деятели бывают и социал-демократические.

Он поправил очки и прочёл, водя пальцем:

— «Статья четвёртая. Родство заявителя с деятелем удостоверяется выпиской из метрической книги либо показаниями двух свидетелей, заслуживающих доверия...»

Он поднял глаза.

— Метрика у вас, Николай Григорьевич, при себе?

— Метрика сгорела, — скорбно сказал посетитель. — Вместе с архивом кяхтинской церкви. Пожар в восемнадцатом году. Вы, наверное, читали.

Кузьма Ильич не читал, но ему стало стыдно, что он не читал.

— А свидетели?

— Свидетели будут, — сказал посетитель твёрдо. — Свидетели всегда будут, Кузьма Ильич. Пока жива память.

Председатель опустил голову. Он перелистнул страницу и с облегчением нашёл статью девятую: «В исключительных случаях вспомоществование может быть выдано по усмотрению председателя управы, с последующим утверждением управой».

Это был исключительный случай. В этом Кузьма Ильич не сомневался.

— Справка о нуждаемости... — пробормотал он для порядка.

Посетитель молча вытянул вперёд ногу в парусиновой туфле, надетой на босу ногу.

— Да, — сказал председатель. — Понимаю. Не нужно.

Сын героя мягко, без нажима попросил пятьдесят рублей.

Председатель развёл руками. Министр финансов Михайлов, объявивший кампанию экономии, урезал фонд вспомоществования на семьдесят процентов. Земская касса была пуста, как сибирская степь в январе. Председатель, стеснённый узкими рамками уездного бюджета, смог дать только восемь рублей наличными, облигацию Сибирского выигрышного займа индустриализации номиналом в десять рублей и три талона на обед в столовой общественных работ «Барабинская заря».

— Облигацией? — переспросил Николай Григорьевич.

— Облигациями управа рассчитывается теперь со всеми, — виновато сказал председатель. — Даже с пожарной командой. Пожарные, правда, грозятся, что будут тушить тоже облигациями. Но вы не беспокойтесь, Николай Григорьевич, заём выигрышный! Тираж раз в квартал. Главный выигрыш — пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч, подумайте!

— Я подумаю, — пообещал сын героя.

Столовая «Барабинская заря» помещалась в здании лопнувшей маслоартели. Вывеску артели не сняли, только приписали снизу «столовая», и получилась «Барабинская заря. Столовая», что звучало почти поэтически. Об этом председатель тоже рассказал с гордостью.

Николай Григорьевич расписался в получении в трёх экземплярах — «Н. Самойлов (Потанин)», — уложил деньги, облигацию и талоны в глубокий карман травяного пиджака и уже собрался было подняться с венского стула, когда за две-

рию кабинета послышался топот, грохот опрокинутой скамьи и заградительный возглас секретаря.

5.

Дверь поспешно растворилась, и на пороге показался новый посетитель.

Это был широкоплечий молодой человек с рыжими, как у сеттера, кудрями, в клетчатой ковбойке «Аризона», вымеченной у американского матроса во Владивостоке, в широких штанах с матросским клапаном и в голубоватых парусиновых туфлях. Он тяжело дышал и рыскал по кабинету блудливыми глазами.

— Кто здесь главный? — спросил он.

— Ну, я, — неохотно признался председатель.

— Здоров, председатель! — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. — Будем знакомы! Сын Потанина!

— Кто? — спросил Кузьма Ильич, тараща добрые глаза.

— Сын великого, незабвенного отца сибирской свободы Потанина! — повторил пришелец, ткнув пальцем в портрет для убедительности.

— А вот же товарищ сидит, — сказал председатель в полном расстройстве и указал на первого посетителя. — Сын Григория Николаевича. Николай Григорьевич.

Лицо первого посетителя внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгнове-

ние. В руках скромного и доверчивого председателя земской управы в любой момент могло блеснуть длинное неприятное перо Немезиды — то есть перо, которым пишутся протоколы. Судьба давала только одну секунду для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына Потанина отразился ужас. Его фигура в ковбойке «Аризона», только что резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения.

И вот, когда второму сыну уже казалось, что всё потеряно и что председательский гнев сейчас обрушится на его рыжую голову, с венского стула пришло спасение.

— Вася! — закричал первый сын Потанина, вскакивая. — Родной братик! Узнаёшь брата Колю?

И первый сын заключил второго в объятия.

— Узнаю! — заревел прозревший наконец Вася. — Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын отца сибирской свободы вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя. На лице Кузьмы Ильича не было ни слёз, ни радости. На нём застыло выражение человека, которому в чай вместо сахара положили соль, а он из вежливости допил.

Ввиду этого спасительную комбинацию пришлось тут же развить и пополнить бытовыми подробностями. Держась за руки, братья опустили на два венских стула и, не спуская ласковых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

— До чего удивительная встреча! — фальшиво воскликнул первый сын, приглашая председателя взглядом пригласить к семейному торжеству.

— Да, — сказал председатель замороженным голосом. — Бывает.

— Когда же ты приехал из Тюкалинска, где жил у нашей бабушки? — ласково спросил брат Коля, глядя брата по рыжим кудрям.

— Да, я там жил, — пробормотал брат Вася. — У неё.

— Что же ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.

— Занят был, — угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что отбывал сроки по приговорам мировых судей различных уездов республики), второй сын Потанина перехватил инициативу:

— А ты почему не писал?

— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселья. — Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.

И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. Но показал их почему-то не

брату, а председателю, да и то издали.

Как ни странно, вид бумажек немного успокоил Кузьму Ильича. Председатель управы был человек уездный, и всякая бумажка с печатью действовала на него, как колыбельная на младенца.

Воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился и монотонно, но довольно толково пересказал брошюру «Г. Н. Потанин — отец сибирского областничества. Для начальных школ. Издание Каинского уездного земства». Брошюру эту, как выяснилось впоследствии, он прочёл в арестном доме, где она была единственной книгой.

— Родился в тысяча восемьсот тридцать пятом году в Ямышевской станице, — бубнил брат Вася. — В детстве любил природу. Был в Монголии. Был в Китае. Был в Тибете. Говорил: «Сибирь — не колония». Умер в Томске...

— А помнишь, Вася, — подхватывал брат Коля, — как отец учил нас считать по монгольским чёткам? И как говорил: «Сто восемь бусин, дети, — сто восемь уездов будущей свободной Сибири»?

— Помню, — мрачно соглашался Вася.

Председатель, начинавший было успокаиваться, снова навострил уши. Ему смутно припоминалось, что уездов в Сибири значительно меньше ста восьми, и, что важнее, ему не удавалось представить себе Григория Николаевича, сидящего с детьми над чётками. Но Кузьма Ильич был человек деликатный, и, кроме того, у него не было на этот счёт никакой

статьи.

Зато одна статья у него была.

— Ну что же, — сказал председатель, кашлянув. — Раз уж у нас нашёлся свидетель...

Он выдвинул ящик стола, достал бланк и разгладил его ладонью. Это была «Форма № 7. Акт удостоверения родства заявителя с деятелем сибирского освобождения».

— Попрошу вас, Василий Григорьевич, засвидетельствовать родство брата. А вас, Николай Григорьевич, — родство брата. Здесь и здесь.

Братья подписались с быстротой, которой позавидовал бы телеграф. Председатель взял акт, поднёс к глазам, потом снова раскрыл «Собрание узаконений» и прочёл вполголоса, водя пальцем:

— «Статья пятая. Свидетелями не могут быть лица, состоящие с заявителем в родстве...»

Он поднял глаза. В кабинете стало так тихо, что было слышно, как в приёмной вдова бакенщика перелистывает молитвенник.

Великий комбинатор не моргнул.

— Совершенно верно, Кузьма Ильич, — сказал он с облегчением человека, которого наконец-то правильно поняли. — Статья пятая. Но вы обратите внимание на закон о гражданском браке девятнадцатого года. Родство по отцу признаётся законом только при наличии записи в книгах загса либо церковного брака. Отец ни с моей матерью, ни с

Васиной в браке не состоял — он, как вы знаете, всю жизнь был человек свободных убеждений. А загсов в девяностые годы ещё не было. Следовательно, юридически мы с братом друг другу совершенно посторонние лица. Мы братья только сердцем. А сердце, Кузьма Ильич, к сожалению, статьёй пятой не предусмотрено.

Председатель долго листал «Собрание узаконений». Он нашёл закон о гражданском браке, нашёл закон о загсах и даже нашёл закон об охране кедровых насаждений, который никакого отношения к делу не имел, но был ему почему-то особенно дорог. Ничего, что противоречило бы словам Николая Григорьевича, он не нашёл.

— Удостоверено, — сказал он упавшим голосом и поставил на акте печать. — Вам, Василий Григорьевич, вспомоществование будет рассмотрено в общем порядке. В порядке очереди. Подайте заявление секретарю. Через две недели после утверждения сметы.

— А смету когда утвердят? — спросил брат Вася.

— Когда утвердит губернская управа, — сказал председатель и встал, давая понять, что приём окончен. — А губернская — когда утвердит министерство. А министерство — когда Михайлов утвердит. Идите, граждане. Идите с миром.

И он отпустил братьев. Они вышли через приёмную, мимо вдовы, мимо маслоделов и мимо старика с прошением о переименовании, и выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

6.

За углом управы они остановились.

— Кстати, о детстве, — сказал первый сын. — В детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

— Почему? — радостно спросил второй сын знаменитого отца.

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Зачем вы полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?

— Я думал...

— Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? Вы хотя бы прочли, что висит у председателя над головой?

— А что там висит?

— Там висит ваш хлеб, — сказал Остап с горечью. — «Мы все — дети Потанина». Учитесь читать то, что висит над столом у начальства, рыжий. Это единственная литература, которая приносит доход. А вы ввалились, как налоговый инспектор в именины, и чуть не оставили нас обоих без отца.

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

— Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познако-

мимся. Как-никак мы братья, хотя юридически совершенно посторонние лица, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите узнать вашу первую фамилию.

— Балаганов, — представился рыжеволосый. — Шура Балаганов.

— О профессии не спрашиваю, — учтиво сказал Бендер, — но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?

— Две, — свободно ответил Балаганов. — Обе у мирового. Одна условно.

— Вот это нехорошо. Почему вы продаёте свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие, а в правовом государстве ещё и разорительное: в правовом государстве судятся главным образом в пользу адвокатов. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно — мама, наверное, познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии. При здешних законах украсть легко, а вот объяснить, откуда у вас деньги, — почти невозможно.

Остап долго ещё развивал бы свои взгляды на жизнь в правовом государстве, если бы его не перебил Балаганов.

— Смотрите, — сказал он, указывая на бульвар имени Ядринцева.

По бульвару, мимо абитуриенток с толстыми книгами, шёл старик в соломенной шляпе-канотье, сильно кренясь набок. На нём был пиджак, лоснящийся от многолетней нос-

ки, пикейные брюки, когда-то белые, и розовый галстук, повязанный с потугой на элегантность. Шёл старик быстро, решительно и с явной целью. Цель его стояла прямо перед ним: двухэтажный дом купца Шкроева с вывеской «КАИНСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА».

— Кто это? — спросил Остап.

— Это Паниковский, — сказал Балаганов с ненавистью.
— Тоже сын.

— Его нужно предостеречь, — заметил Бендер. — Не верится, чтобы после нашего визита председатель отнёсся к третьему сыну Потанина миролюбиво.

— Не надо, — сказал Балаганов мстительно. — Пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

— Что ещё за конвенция такая?

— Подождите. Потом скажу. Смотрите, он вошёл.

— Я человек завистливый, — сознался Бендер, — но тут завидовать нечему. Однако я также и любопытен. Пойдём посмотрим.

7.

Сдружившиеся дети Потанина вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За мутным, давно не мытым стеклом сидел Кузьма Ильич и что-то писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вероятно, он составлял объяснительную губернской управе о расходовании фонда вспомоществования. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в кабинет проник Паниковский. Прижимая канотье к сальному пиджаку, он остановился перед столом и долго шевелил толстыми губами. Остап увидел, как он показывает рукой на портрет Потанина, потом на себя, потом снова на портрет и снова на себя, словно предлагая председателю найти десять отличий.

После этого председатель подскочил, опрокинув венский стул, и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик, в котором отчётливо различались слова «третий!» и «статья пятая!».

Со словами «Отбой! Все назад!» Остап увлёк за собой Багаганова. Они перебежали бульвар и спрятались за топодем.
— Снимите шляпы, — сказал Остап, ликуя, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Остап не ошибся. Не успели ещё замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в дверях управы показались два дюжих сторожа. Они несли Паниковского. Один

держал его за руки, а другой за ноги. За ними, на ходу заполняя какой-то бланк, поспешал секретарь с университетским значком.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сторожа вынесли третье глупое дитя Потанина на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее барабинское небо.

Секретарь тем временем развернул бланк и прочёл вслух, громко и отдельно, как читают в правовом государстве всё, что касается граждан:

— «Акт о выдворении. Составлен в том, что гражданин...» Фамилия?

— Паниковский, — честно ответил покойный, висая между сторожами. — Михаил Самуэлевич.

— «...гражданин Паниковский Михаил Самуэлевич, явившись в управу третьим за текущий день с заявлением о родстве с деятелем сибирского освобождения Потаниным Г. Н., без метрики и без свидетелей, нарушил тишину в присутственном месте и выдворен на основании...» На основании чего, Кузьма Ильич? — крикнул секретарь в открытое окно.

— На основании того, что хватит! — донеслось из окна.

— «...на основании того, что хватит», — записал секретарь.

— Над гробом было прочитано краткое надгробное слово, — продолжал Остап. — После непродолжительной граж-

данской панихиды...

В ту же самую минуту сторожа, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— ...тело было предано земле, — закончил Бендер.

Паниковский шлёпнулся в пыль, как жаба. Секретарь сошёл с крыльца, деловито вручил ему копию акта и потребовал расписаться в получении. Паниковский расписался, лёжа, на собственном колене. После этого он быстро поднялся и, кренясь набок сильнее прежнего, побежал по бульвару имени Ядринцева с невероятной быстротой. Абитуриентки подняли головы от книг и долго смотрели ему вслед, как смотрят на явление природы, которого не было в программе.

— Ну вот, — сказал Остап, надевая фуражку. — Похоронили. По всем правилам, с актом и копией. Хорошая страна, Шура. Даже покойника здесь не выбросят на улицу, не составив протокола.

Он посмотрел на управу, где за окном председатель Кузьма Ильич поднимал опрокинутый венский стул и вытирал глаза под портретом великого бездетного отца всей Сибири.

— Ну, теперь расскажите, — промолвил Остап, — каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.



Глава II. Тридцать сыновей Потанина

1.

Хлопотливо проведённое утро закончилось. Стало жарко. По Проспекту Свободной Сибири, на раздвинутых крестьянских ходах, везли молочные бидоны. Бидонов было штук сорок, и все пустые, потому что везли их не на маслозавод, а от маслозавода, в склад конкурсного управления Сибирского кооперативного банка. Возчик в брезентовой робе не торопился. Бидоны раскачивались на ухабах, стукались друг о друга, и над главной улицей Каинска стоял такой звон и гул, будто ехал не воз с банковским залогом, а целый оркестр, исполняющий на прощание «Барабинскую кадрили». Хозяйки выходили к воротам и провожали воз глазами, как провожают похоронную процессию знакомого.

Солнце ломилось в стеклянную витрину бывшего магазина «Сепараторы, маслобойки, молочная посуда. Склад шведских фирм». Магазин был закрыт, на двери висела знакомая уже табличка «Конкурсное управление», но витрину не убрали, потому что конкурсному управлению некуда было девать выставленный в ней товар.

В витрине стоял сепаратор «Альфа-Лаваль».

Он был огромен. Он был так великолепен, так лениво сиял на солнце никелированными боками, так тяжело покоился на чугунных лапах, свернув в кольцо свои трубки и рукоятки, что его следовало бы содержать не в витрине, а в томском зоологическом саду, где-нибудь между медведем и маралом. И чтобы в дни отдыха родители водили к нему детей и говорили: «Вот, деточка, павильон сепаратора. Сепаратор сейчас спит. А когда масло подорожает, он проснётся и начнёт гудеть». И чтобы дети смотрели на удивительную машину большими чайными глазами и долго не могли уснуть.

Остап Бендер и Шура Балаганов постояли перед витриной.

— Красивый, — сказал Балаганов с уважением. — Сколько такой стоит?

— Теперь нисколько, — ответил Остап. — В этом и заключается кризис, Шура. Раньше вещь стоила дорого, и её нельзя было купить, потому что не было денег. Теперь она стоит дёшево, и её всё равно нельзя купить, потому что денег нет ещё больше. Пошли. Этого зверя мы не прокормим.

Мимо них, по бульвару имени Ядринцева, бродили всё те же абитуриентки. Голый мальчуган с пупком, выпуклым, как свисток, мыкался между скамейками и просил у девушек копеечку на мороженое. Девушки рассеянно отвечали ему латинскими названиями костей. В бричке, влекомой толстой казённой лошадью, проехал уездный агроном, закрываясь от

солнца портфелем, в котором лежал доклад о перспективах барабинского маслоделия на 1931 год. Доклад был очень оптимистический, потому что писался ещё в двадцать восьмом году, и агроном не успел его переделать.

В другое время Остап Бендер, чувствительный ко всему прекрасному, не оставил бы без внимания ни девушек, ни агронома с его докладом. Но сейчас ему хотелось есть.

— Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова.

— Если бы на краю! — воскликнул Шура. — Я уже давно на дне. Там, Бендер, даже как-то устроился.

— Ну, тогда идёмте обедать. Я угощаю. У меня талоны. Талоны, рыжий, выданы мне земской управой на основании статьи девятой закона о вспомоществовании. Это не просто обед. Это обед, утверждённый законом.

2.

Столовая общественных работ помещалась в двухэтажном бревенчатом здании бывшей маслоартели. Вывеску не снимали. Только под старыми золотыми буквами «БАРАБИНСКАЯ ЗАРЯ» кто-то вывел свежей масляной краской «столовая», отчего вся надпись приобрела мечтательный и слегка поэтический характер, как будто это была не вывеска, а первая строчка неоконченного романа.

Внутри ещё сохранились следы прежнего величия. Вдоль стен стояли деревянные маслобойки-мутовки, в которые теперь складывали ложки. Над буфетом висела в рамке медаль Копенгагенской молочной выставки 1913 года, а под ней — диплом на трёх языках, где по-датски, по-английски и по-русски удостоверялось, что барабинское масло «отличается превосходным вкусом и ароматом». Рядом с дипломом, на гвоздике, висело меню, написанное мелом на грифельной доске:

«Суп кризисный — 12 коп. Котлета мясная — 25 коп. Котлета морковная — 10 коп. Гарнир — по облигациям. Чай — 3 коп. Масло — нет».

Последняя строчка была написана с особенным старанием и подчёркнута дважды, как будто повар хотел, чтобы посетитель прочёл её не как отсутствие продукта, а как исторический факт.

За длинными столами обедали землекопы. Это была партия с осушения Барабинских болот — главной стройки общественных работ, которую уездное земство открыло весной, чтобы безработным было где получать полтора рубля в день. Землекопы сидели в высоких сапогах, облепленных чёрной торфяной грязью, ели суп молча и сосредоточенно, как едят люди, которым до вечера осталось выкопать ещё сорок сажень канавы. Большинство из них ещё год назад были членами маслоартелей. Среди них Остап заметил и давешнего гиганта-перевозчика: тот, видимо, совмещал паромное дело с мелиорацией. Перевозчик узнал своего седока и приветливо кивнул ему, как старому клиенту.

— Хорошая страна, — сказал Остап, садясь за отдельный столик у окна. — Здесь даже безработных не бросают на произвол судьбы. Им дают канаву. Шура, вы когда-нибудь копали канаву?

— Было дело, — мрачно сказал Балаганов. — По приговору мирового. Сорок дней.

— Значит, вы опередили своё время. Вы были первым безработным Сибири, когда остальные ещё работали.

Подавальщица, бывшая лаборантка маслоартели (она до сих пор по привычке нюхала каждую тарелку, проверяя на прогорклость), приняла у Остапа два талона и принесла два кризисных супа, две мясные котлеты и два чая. Третий талон Остап бережно спрятал в карман.

— На чёрный день, — пояснил он. — У человека моей

профессии чёрный день наступает обычно в четверг.

Некоторое время молочные братья ели молча. Суп был жидкий, но горячий. Котлета была твёрдая, но мясная. Остап ел с удовольствием, как едят люди, не бравшие крошки в рот со вчерашнего полдня.

— Ну, теперь рассказывайте, — сказал он, отодвигая пустую тарелку и закуривая папиросу, взятую у Балаганова. — Что это за конвенция и каким образом этот гад её нарушил?

3.

История, рассказанная Балагановым, была проста и поучительна.

В тысяча девятьсот двадцать пятом году Сибирская дума приняла закон «О вспомоществовании семействам деятелей сибирского освобождения». Закон был хороший, гуманный и написанный от души. Его составляли бывшие ссыльные, бывшие областники и бывшие народные учителя, у каждого из которых были товарищи, погибшие в тюрьмах, в ссылке, на этапах и на баррикадах девятьсот пятого года. Законодатели представляли себе вдов в чёрных платках, сирот с честными глазами и престарелых матерей, которым республика наконец-то воздаст за страдания их близких.

Вдовы, сироты и матери действительно пришли. Но вслед за ними пришли и другие.

Первыми появились сыновья. Сперва их было немного, и они вели себя скромно. Потом появились внуки Ядринцева, хотя Ядринцев тоже был бездетен, но про это знали ещё меньше, чем про Потанина. Затем появились племянники декабристов, правнуки декабристов и, наконец, даже сами декабристы — один древний старик в Тобольске утверждал, что он лично стоял на Сенатской площади, и был так дряхл, что ему чуть не поверили. Пришли сироты Учредительного собрания, хотя почти все депутаты Учредительного

собрания были живы, здоровы и заседали в думе, а некоторые сами были не прочь получить вспомоществование. Пришли вдовы политических ссыльных, причём мужья некоторых вдов были ещё живы и сидели в соседней комнате, ожидая очереди за собственным вспомоществованием. Пришёл даже один «сын атамана Ермака», но его земство отвергло сразу, потому что Ермак, по мнению земства, деятелем сибирского освобождения не был, а был, наоборот, деятелем сибирского завоевания.

По Сибири, от Урала до Тихого океана, двинулись лжеродственники. Они ездили на подножках вагонов, на пароходах третьего класса, на попутных подводах. Они знали наизусть биографии деятелей сибирского освобождения, причём лучше, чем сами деятели. Они рыдали в кабинетах председателей управ и показывали лежалые бумажки. Подавляющее большинство из них, за неимением других наук, кончили курсы при исправительных домах различных губерний.

— И тут, — сказал Балаганов, — пришёл кризис.

Предложение лжеродственников всё же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия — сперва своя, местная, а потом, с осени двадцать девятого года, и общемировая. Министр финансов Михайлов урезал фонд вспомоществования на семьдесят процентов. Председатели управ стали платить облигациями. Чувствовалась необходимость в реформах.

Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Яд-

ринцева и племянники декабристов, которые были народ интеллигентный, сговорчивый и умели разделить губернии по-хорошему, за чаем. За исключением буйной корпорации детей Потанина, которую, на манер Сибирской думы, вечно раздирали фракционные склоки. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы. Не раз бывало, что в один день в одну управу являлись трое сыновей подряд, и председатель управы, всю жизнь проработавший сельским учителем, уже на втором сыне начинал подозревать неладное.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем Потанина, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Всё чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодотворные земства Алтая и курортные высоты Белокурихи, где он привык прибыльно работать.

— И вы убоялись всё возрастающих трудностей? — насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Отхлебнув чаю, он продолжал повествование.

Выход из этого напряжённого положения был один — конференция. Над созывом её Балаганов работал всю зиму. Знакомым писал. Незнакомым передавал через попадавших на пути внуков Ядринцева. И вот наконец ранней весной двадцать восьмого года почти все известные дети Потанина собрались в Омске, в пивной «Ермак» на Атаманской

улице.

Место было выбрано не случайно. В пивной «Ермак» было просторно, тихо в дневные часы и имелась задняя комната, которую хозяин сдавал под поминки, юбилеи и собрания домовладельцев. В задней комнате, в углу, стояло на задних лапах огромное чучело медведя с подносом в передних лапах. Медведь был куплен когда-то в омской комиссионке вместе с какой-то старой мебелью и с тех пор служил «Ермаку» и вешалкой, и вывеской, и талисманом. Под этим медведем и открылась конференция.

Кворум был велик. У Потанина, который всю жизнь отдал Сибири и умер бездетным, оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. Самый старший сын, судя по возрасту, родился в те годы, когда Григорий Николаевич, согласно всем биографиям, отбывал каторгу и ссылку по делу о сибирском сепаратизме. Это никого не смущало.

В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова вся Сибирская республика, от Челябинской таможни до Владивостокского порта, разбивалась на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не

имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживёт и без конвенции. Зато при разделе Сибири разыгались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошёл из-за дележа участков.

Никто не хотел брать Томска.

— Там же университет! — кричали дети. — Там профессора! Там на каждом углу областник, который лично знал отца и знает, что детей у него не было! Там в каждой управе висит его биография с датами! Нет, нет, Томск — это верная тюрьма!

Никому не нужны были выдавшие виды Омск и Новониколаевск, где управы были учёные и уже выработали на сыновей Потанина особую форму запроса в Томский архив. Все единодушно отказывались от немцев-колонистов Омского уезда.

— А что, разве это такие плохие места? — невинно спрашивал Балаганов. — Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

— Знаем, знаем! — кричали разволновавшиеся дети. — У немцев возьмёшь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых

немцев-колонистов в сельской кутузке, где немцы держали его до приезда земской милиции, а пока кормили картофельным супом и читали ему вслух Библию.

Очень плохой репутацией пользовалась также далёкая Якутия. Её обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью Потанина.

— Я там был, — сказал один из сыновей, мрачный человек в оленьей куртке. — Говорю председателю: «Я сын Потанина». А он говорит: «Какого Потанина? Который из Вилюйска, пушнину скупал?» Я говорю: «Отца сибирской свободы!» Он говорит: «Это который? Нам свободу дало Учредительное собрание, а не Потанин». Я ему два часа объяснял. Он меня понял, накормил оленьим мясом, а денег не дал, потому что сказал, что Якутская автономия сама живёт на пособие и у неё в бюджете на чужих отцов не предусмотрено.

Монголию, Тыву и Алаш-Орду не взял никто. Это была заграница. Там требовали паспорт, а с паспортом сын Потанина чувствовал себя голым.

Зато были места, за которые разыгралась настоящая драка. Все хотели Белокуриху с её радоновыми ваннами, куда каждое лето съезжались депутаты всех трёх фракций с жёнами: распаренный депутат, как известно, щедр и доверчив. Все хотели Кузбасс, где горняки получали хорошее жалование и были сентиментальны. Все хотели Харбин, где жили сто тысяч русских и каждый второй мечтал помочь кому-ни-

будь, кроме себя. И все до одного хотели Владивосток.

— Там порт! — кричали дети. — Там матросы! Там японцы! Там американцы! Там все с деньгами, и никто ни в чём не разбирается!

Владивосток достался по жребию тихому сыну по фамилии Ерофеев, который через полгода попался на том, что пришёл в управу на Светланской одновременно с двумя «внуками Ядринцева» и одной «вдовой декабриста». Вдова была на сорок лет моложе Ерофеева. Её взяли первой.

Балаганов, как первенец и организатор конференции, получил то, чего добивался больше всего: Барабу. Барабинскую степь, с Каинском, Каргатом, Убинским, Купинским и тридцатью волостями, богатейший маслодельный район Сибири, где каждая вторая волость имела маслоартель, а каждая маслоартель имела председателя с бумажником.

— Это была не Бараба, Бендер, — сказал Балаганов с тоской. — Это было масло. Масло в чистом виде. Там председатель управы давал сыну Потанина двадцать рублей и ещё фунт масла с собой, в бумажке. Я был самый богатый сын в Сибири.

— И что же?

— А то, — сказал Балаганов и махнул рукой в сторону окна, где за стеклом медленно катил очередной воз с пустыми бидонами. — Через полтора года после конвенции масло кончилось. В Лондоне, понимаете, кризис. Король перешёл на маргарин.

— Это мне уже говорили, — сказал Остап. — Удивительно, как один король может испортить жизнь целой степи.

Конвенцию подписали в тот же вечер, под медведем. Хотели было, по примеру правового государства, заверить её у нотариуса. Делегация из трёх сыновей пошла к омскому нотариусу на Любинский. Нотариус внимательно прочёл документ, снял очки и сказал, что договор о разделе территории для совершения мошеннических действий нотариальному удостоверению не подлежит, согласно статье сорок третьей Положения о нотариате. После этого он потребовал рубль за консультацию. Делегация рубль не заплатила и вернулась в «Ермак». Конвенцию скрепили печатью, роль которой исполнило мокрое донышко пивной кружки, и единогласно признали, что так даже надёжнее.

Паниковский конвенции не подписал. И вот теперь, нарушив все её статьи, он приехал в Барабу, в чужой эксплуатационный участок, и сунулся в Каинскую управу в тот самый день, когда там работал законный владелец участка.

— Вот гад, — с чувством сказал Балаганов. — Я ведь его по-хорошему предупреждал. В Колывани. А он мне: «Вы жалкий, ничтожный человек». И поехал.

— Да, — согласился Остап. — Нехорошо. Нарушение международных обязательств. В правовом государстве, Шура, за такое полагается... Впрочем, за такое в правовом государстве ничего не полагается, потому что ваша конвенция в правовом государстве не существует. Вы же сами слышали

нотариуса.

4.

Балаганов допил чай и посмотрел на Остапа с некоторым беспокойством.

— Так что же делать? — спросил он. — Барабу съел кризис. Паниковский лезет. Кузьма Ильич теперь до весны никакого сына на порог не пустит. Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово ответил Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым земским рублём, выданным наполовину облигацией. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?

— Пять тысяч, — быстро ответил Балаганов.

— В месяц?

— В год.

— Тогда нам с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

— Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Было душно. Пахло супом и торфом от сапог землекопов. Остап ослабил узел японского шарфа и отвёл его в сторону,

чтобы впустить к шее немного воздуха из окна.

Балаганов хотел было пошутить и по поводу этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осёкся. Перед ним сидел атлет с точёным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал длинный светлый шрам, уже заживший, но ещё не забытый. Глаза сверкали грозным весельем.

Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с гласными уездного собрания при разговоре с министром. И действительно, откашлявшись, он смущённо спросил:

— Зачем же вам так много денег... и сразу?

— Вообще-то мне нужно больше, — сказал Остап, снова затягивая шарф. — Пятьсот тысяч — это мой минимум. Пятьсот тысяч полновесных сибирских золотых рублей, по паритету равных царским. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро.

— У вас там родственники? — спросил Балаганов.

— А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?

— Как же. Вы сегодня утром были сыном Потанина.

— Это было утром, — холодно сказал Остап. — Утром я был сыном. А по существу у меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всём свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, ко-

нечно, не знаете о существовании этого города.

Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Томска, знал только Омск, Тюкалинск и станцию Тайга. И вообще он был убеждён, что Сибирь кончается Владивостоком, а за Владивостоком начинается Япония, за которой уже ничего нет, кроме воды.

Остап вынул из кармана и бросил на стол сложенный листок, вырванный из книги.

— Это вырезка из «Сибирской энциклопедии» томского издания, том третий, на букву «Р». Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «Миллион четыреста тысяч жителей»... так... «значительное число мулатов»... «у обширной бухты Атлантического океана»... Вот, вот! «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, кофе, чарльстон и... о чём говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах!

Он спрятал листок обратно.

— Я хочу отсюда уехать. У меня с Сибирской республикой возникли за последние годы серьёзнейшие разногласия. Она хочет жить по закону, а я не хочу. Мне скучно жить по закону, который надо сначала прочесть. Вы видели сегодня «Собрание узаконений» у Кузьмы Ильича? Это двенадцать томов, Шура. Двенадцать томов, и в каждом сто статей, и в каждой статье написано, чего мне нельзя. Я свободный чело-

век. Что я, гласный уездного собрания? Нотариус? Податной инспектор с описью?.. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?

— Где же вы возьмёте пятьсот тысяч? — тихо спросил Балаганов.

— Где угодно, — ответил Остап. — Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

— Как? Убийство? — ещё тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседний стол, где землекопы с барабинских болот доедали морковные котлеты.

— Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой Ермаковской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. — Он машинально тронул шарф. — Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев. Но я чту Уголовное уложение Сибирской республики. Это моя слабость.

— Как же думаете отнять деньги?

— Отъём или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъёма. Но не в способах дело.

5.

Остап погасил папиросу о край тарелки и задумался.

— Вы думаете, Шура, в чём ужас моего положения? Вы думаете, что в Сибири нет богатых людей? Есть. Это вам не Совдепия, где миллионер прячется в подполье и пьёт сорокакопеечное пиво, чтобы его не нашёл фининспектор. Здесь миллионеры легальные. Здесь их адреса напечатаны в «Справочнике сибирского делового мира». Здесь они живут в особняках с резными наличниками и ездят — то есть ездили — на «Паккардах». Привалов. Громов. Ляховский. Бахарев. Я с ними знаком, Шура. Я видел их в Омске.

— Так в чём же дело? — оживился Балаганов. — Пошли к Привалову!

— Пошли, — с горечью согласился Остап. — Пошли к Привалову. Вот мы приходим к Привалову. Нас встречает швейцар. Швейцар спрашивает, по какому делу. Мы говорим: по личному. Швейцар передаёт нас секретарю. Секретарь — юрисконсульту. У юрисконсульта есть помощник. У помощника есть «Собрание узаконений», те же двенадцать томов. Мы ещё не успели сказать «здравствуйте», а на нас уже составлен протокол о попытке вымогательства, вызвана земская милиция, и мировой судья третьего участка, пожилой человек с университетским значком, уже надевает очки, чтобы удобнее было прочесть приговор. А Привалов в это

время сидит у себя в кабинете и даже не знает, что мы приходили. Нет, Шура. Легальный миллионер в правовом государстве — это крепость. Это бастион. Его нельзя ограбить. Он сам ограбит вас, причём по суду, в трёх инстанциях, с возмещением судебных издержек.

— А может, украсть? — предложил Балаганов. — Ночью?

— Опять двадцать пять. Вам известно моё уважение к Уголовному уложению. Кроме того, у Привалова теперь нечего красть. Вы газеты читаете?

— Нет, — честно сказал Балаганов.

— Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте, — сказал Остап. — Но вам я оставляю жизнь, потому что надеюсь вас перевоспитать. Так вот: легальные миллионеры, Шура, кончились. Они кончились вместе с маслом. Привалов продаёт мельницы. Громов закладывает прииски американскому банку, а банк не берёт, потому что сам закладывает себя другому банку. Ляховский перешёл с водки на клюквенный морс, потому что морс пьют и в кризис. Легальный капитал — это вещь благородная, но хрупкая, как сепаратор в витрине: пока масло дорогое, он гудит, а как подешевело — стоит и сияет, и никому не нужен.

Он помолчал.

— Нет, Шура. Мне нужен другой человек. Мне нужен миллионер, который не может пожаловаться. Человек, которому закон не друг. Который не пойдёт к юрисконсульту, потому что юрисконсульт первым делом спросит его, откуда

деньги. Мне нужен человек, который разбогател не до кризиса, а на кризисе. Такие есть, Шура. Когда масло падает, кто-то всегда успевает подставить ведро. Но где его найти? Он ведь не печатает свой адрес в «Справочнике делового мира». Он, может быть, сидит сейчас в этой столовой, за соседним столом, ест морковную котлету и делает вид, что ему не хватает до полочки. Вот что обидно!

Остап вздохнул. Видимо, грёзы о таком индивидууме давно волновали его.

— Ах, если бы только найти его! Уж я бы так устроил, что он свои деньги мне сам принёс бы. На блюдечке с голубой каёмкой.

— На блюдечке, — повторил Балаганов и доверчиво усмехнулся. — Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каёмкой!

Он поднялся и стал кружить вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Землекопы с интересом следили за его эволюциями. Остап равнодушно смотрел в окно, где бывший председатель «Барабинской зари», отобедав, снова переносил через лужу дам по три копейки.

— Сам принесёт? — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. — На блюдечке? А если не принесёт? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах! Вы это бросьте, Бендер. На пятьсот тысяч

можно и у нас хорошо прожить. Хотя в Томске.

— Бесспорно, бесспорно, — весело сказал Остап. — Прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.

На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:

— Я знаю такого миллионера. Может выйти дело.

С лица Бендера мигом сошло всё оживление. Лицо его сразу затвердело и снова приняло медальные очертания.

— Идите, идите, — сказал он. — Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать.

— Честное слово, мосье Бендер!

— Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуйен, что значит — гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?

— Он живёт во Владивостоке.

— Ну конечно! Так я и знал! Владивосток! Там миллионером называют всякого, у кого есть шлюпка и знакомый японец. А если у человека две шлюпки и знакомый американец, его зовут уже Рокфеллером и снимают перед ним шапку на Светланской. Нет, это чепуха!

— Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне сидеть в Новониколаевском исправдоме...

— В Новониколаевском? — Остап поднял бровь. — Я

тоже имею к этому заведению некоторое отношение. Курсы кооперативного счетоводства, выпуск двадцать второго года, окончил с отличием. Как там, кстати, библиотека? Брошюры о Кропоткине так и не переплели?

— Не переплели, — подтвердил Балаганов. — Её на самокрутки рвут. Начали с середины.

— Варвары. Это была лучшая глава. Ну, продолжайте.

6.

И Балаганов рассказал.

В Новониколаевском исправдоме, в одной с ним камере, сидел некто Шпиндлер, по профессии медвежатник, то есть человек, вскрывающий несгораемые шкафы, а по убеждениям сторонник свободной торговли. Шпиндлер был старый, опытный и огорчённый. Огорчён он был тем, что впервые в жизни сделал проверку квартиры одного владивостокского человека, о котором ходили самые удивительные слухи, — и не нашёл в ней ничего, кроме железной кровати, табуретки, чайника и стопки владивостокских газет, названия которых Балаганов не запомнил, потому что газет не читал.

— Ничего не держит дома, — рассказывал Балаганов, понизив голос. — Вообще ничего. Живёт как конторщик. Служит конторщиком. Получает сорок шесть рублей. Ходит в одном костюме. Обедает в столовой. А все говорят, что у этого человека — миллионы. Что он на кризисе нажил. Как-то там с американскими кредитами, с паями этих... маслоартелей, которые лопнули, с какими-то векселями, с акциями. Шпиндлер говорил — гений. Гений кризиса. Все разорились, а он поднялся. Только доказательств никаких. Решительно никаких. Шпиндлер к нему ещё раз хотел, да не успел — его на следующий день взяли совсем по другому делу. Сидеть ему ещё три года. Он, когда я выходил, даже плакал.

Чувствовал, видно, что не надо было мне рассказывать.

— Не из-за этого он плакал, — сказал Остап. — Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всё мне. Это действительно для бедного Шпиндлера прямой убыток. К тому времени, когда Шпиндлер выйдет на волю, наш миллионер будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».

Он помолчал, глядя на Балаганова, как бы определяя его удельный вес.

— Значит, говорите, доказательств нет?

— Никаких.

— Это хорошо, — сказал Остап. — Это просто превосходно. Во-первых, правосудие не сможет его утащить и этим сорвать нашу кампанию. А правосудие здесь, Шура, работает, к сожалению, исправно. Во-вторых, человек, против которого нет доказательств, но у которого есть миллион, очень боится, что доказательства появятся. Это самый пугливый зверь на свете. Пугливее зайца. Его нельзя ограбить, но его можно... убедить. — Остап помолчал. — Королева всех идей. Но вы, между прочим, скажите мне фамилию владивостокского Рокфеллера.

— Фамилия Рокфеллера — Корейко, — сказал Балаганов. — Я его видел в лицо, Шпиндлер показывал, когда нас водили в суд мимо пристани. Адрес — чепуха. Я узнаю его в пять минут.

— Корейко, — повторил Остап, пробуя фамилию на вкус,

как пробуют незнакомое вино. — Хорошая фамилия. Солидная. Конторская. С такой фамилией не грабят банков. С такой фамилией сидят над grossбухом и не поднимают головы.

— А королева всех идей? — жадно спросил Балаганов.

— Это я сообщу вам на поприще нашей будущей деятельности. Во Владивостоке.

7.

Через десять минут молочные братья покинули столовую «Барабинская заря».

Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьёзную операцию. Всё готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой косынке неслышно передвигается по кафельному полу, блестит медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку. Хирург с растопыренными руками подходит к столу, принимает от ассистента стерилизованный нож и сухо говорит больному:

«Ну-с, снимайте бурнус!»

— У меня всегда так, — сказал Бендер, блестя глазами. — Миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется восемью рублями, одной облигацией Сибирского выигрышного займа индустриализации и одним талоном на обед в столовой общественных работ. Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?

— Корейко.

— Да, да, Корейко. И вы утверждаете, что никто, кроме вас и Шпиндлера, не знает о его миллионах?

— Никто, — сказал Балаганов. — Даже налоговое управ-

ление.

— Налоговое управление узнает последним. Так всегда бывает в правовом государстве: всё знают все, кроме тех, кому положено по закону.

Они стояли на Проспекте Свободной Сибири. Из-за поворота снова выкатил воз с пустыми бидонами, и над улицей поплыл знакомый звон, похожий теперь не на похоронную музыку, а на марш.

Остап скинул свою фуражку с белым верхом и, помахав ею в воздухе, спросил:

— Есть у меня седые волосы?

Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:

— Никак нет.

— Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседее, Балаганов.

Балаганов вдруг глуповато хихикнул.

— Как вы говорите? Сам принесёт деньги на блюдечке с голубой каёмкой?

— Мне на блюдечке, — сказал Остап. — А вам на тарелочке.

— А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.

— Рио-де-Жанейро — это хрупкая мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор. — Не касайтесь её своими лапами. Ближе к делу. До Владивостока, Шура, пять

тысяч вёрст. Это не Бараба. Это половина земного шара, если считать по карте Сибирской энциклопедии. Наш капитал, напоминаю, восемь рублей. На восемь рублей можно доехать в общем вагоне до Новониколаевска и там умереть от голода, с видом на мост через Обь. Нам нужны перевозочные средства.

— Где же их взять? В Каинске даже «Форда» нет. Банк увёз.

Остап надел фуражку, поправил шарф и посмотрел вдоль улицы, туда, где за собором и синагогой, за мостовой, которую не чинили ни одна, ни другая конфессия, начиналась дорога на восток.

— Выслать линейных в моё распоряжение, — сказал он. — Частям прибыть в город Владивосток в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш!



Глава III. Бензин ваш — идеи наши

1.

За два года до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Каинске появился первый автомобиль. Робинзоном автомобильного дела в Барабе был шофёр по фамилии Козлевич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Казимировича Козлевича была греховна. Он происходил из ссыльных поляков шестидесят третьего года, осевших в Томской губернии, был крещён в томском костёле Богоявления и до двадцати восьми лет беспрестанно нарушал Уголовное уложение, а именно ту его главу, которая трактует вопросы тайного похищения чужого имущества. Глава эта имеет много статей, но грешному Адаму была чужда статья о краже, совершённой без применения технических средств. Это было для него слишком примитивно. Его привлекали замки, задвижки и несгораемые шкафы, то есть всё, что сделано руками инженера. Козлевич был, в сущности, механик, заблудившийся в Уголовном уложении.

Последний раз он сидел в Томском исправительном доме, том самом, где по воскресеньям устраивались лекции Народного университета, а по средам — концерты хора бывших

эсеров-каторжан, приглашённых дирекцией для показа арестантам, что из тюрьмы можно выйти в люди. Лекции читал профессор Технологического института, и читал он их о двигателе внутреннего сгорания. Козлевич слушал так, как не слушал в жизни ни одной проповеди. Двигатель внутреннего сгорания показался ему самым честным устройством на свете: он брал бензин и отдавал движение, ничего не прятал и ничего не крал.

В исправдоме Козлевич понял, что хочет быть шофёром.

Выйдя на волю, он два года работал подручным в автомобильной мастерской на Иркутском тракте, где чинили «Форды» кооператоров. За эти два года он узнал об автомобиле всё, что можно узнать, и ещё немного сверх того. Оставалось достать собственную машину.

Машину он нашёл в Семипалатинской степи.

Это была французская штабная машина «Лорен-Дитрих» военной миссии генерала Жанена. Летом девятнадцатого года, когда миссия уже собиралась домой и вывозила на восток всё, что можно было вывезти, один французский лейтенант, получив приказ доставить в Омск ящик бургундского, выехал на этой машине из Семипалатинска, сбился с дороги, допил бургундское в степи и вернулся в Семипалатинск пешком, сказав, что машину съели волки. Волки машину не съели. Её нашли казахи из аула Акбулак, стоявшего в трёх днях пути от ближайшего тракта.

Восемь лет «Лорен-Дитрих» стоял посреди аула. Сначала

его боялись. Потом к нему привыкли. Потом его полюбили. Зимой в нём сидели старики, потому что кожаные сиденья хранили тепло лучше любой кошмы. Весной в нём ставили на ночь ягнят. Летом в нём спали молодожёны, и считалось, что это приносит удачу. Ребятишки дули в резиновую грушу клаксона, и клаксон издавал протяжный носовой звук, очень похожий на крик степной антилопы. За этот звук, а ещё за высоко поднятый горбатый радиатор, напоминавший горбатый нос сайгака, и за то, что машина была старше всех детей аула и многих взрослых, аксакал Байжан, глава аула, дал ей имя.

Её стали звать Сайгак-ага.

«Ага» по-казахски — почтительное обращение к старшему: дядя, старший брат, уважаемый. Так говорят старикам, мудрецам и людям, которые много видели. Машина, которая пришла из Франции, видела войну, бургундское и французского лейтенанта и молча восемь лет простояла в степи под снегом и солнцем, — такая машина, по мнению аксакала Байжана, заслуживала почтения. Сайгак-ага ничего не просил, никого не обижал, грел стариков, укрывал ягнят и приносил счастье молодожёнам. Не каждый человек в ауле мог сказать о себе столько же.

Когда Козлевич приехал в аул и предложил за машину барана и два рубля, аксакал Байжан долго молчал. Потом сказал:

— Бери. Но имя не меняй. Если сменишь имя — обидит-

ся. А обиженный старик, сынок, хуже волка. Волк съест и уйдёт. А старик будет помнить.

Козлевич был католик и человек здравомыслящий. Но он был также поляк, а все поляки немного суеверны, когда дело касается чести. Он поклялся.

Восемь месяцев он перевозил Сайгака-агу по частям на трёх телегах в Новониколаевск и ещё восемь месяцев собирал его в сарае на окраине. Французского в машине осталось немного: рама, кузов, руль и благородная осанка. Мотор был от разбитого «Форда» омского кооператора, коробка передач — от «Шевроле» барнаульского зубного врача, задний мост — от грузовика, утонувшего в Оби у Колывани и поднятого рыбаками. Фары Козлевич купил у старьёвщика в Новониколаевске. Одна фара была от «Паккарда», другая неизвестного происхождения и светила чуть косо, отчего машина ночью казалась прищурившейся. Клаксон остался родной — он кричал по-сайгачьи. Это был франко-американо-новониколаевский гибрид, и в этом смысле Сайгак-ага был точным портретом всей Сибирской республики, которая тоже была собрана из того, что осталось после девятнадцатого года, на американские детали и местную смекалку.

Козлевич выкрасил машину в зелёный цвет — цвет тайги на бело-зелёном флаге. Белого цвета он не нашёл, поэтому снега на машине не было.

И самое главное: Сайгак-ага был куплен за наличные. За барана и два рубля. Без рассрочки, без векселей, без дого-

вора с Сибирско-Американским обществом автомобильного кредита. Это обстоятельство Козлевич в то время считал чудачеством. Он ещё не знал, что оно спасёт ему машину.

2.

Оставалось выбрать город, в котором начнётся новая, честная, шофёрская жизнь.

Козлевич выбрал Каинск.

Это было весной двадцать восьмого года, во времена процветания, о котором так много говорил тогда президент Вологодский. Над Барабой висели плакаты «Единство и процветание!» и «Трудовая Сибирь — богатая Сибирь!». Масло шло в Лондон по восемнадцать шиллингов за центнер. В каждой волости была маслоартель, у каждой маслоартели — председатель, у каждого председателя — бумажник, а у каждого бумажника — желание куда-нибудь поехать. Автомобиля в Каинске не было ни одного. «Форд» уездного агронома появился позже, а пока по городу ездили только на извозчиках, и извозчики были наглые.

Козлевич рисовал себе картины новой жизни. Вот он стоит со своей машиной на Базарной площади, против собора и синагоги. К нему подходят председатели маслоартелей, приехавшие в уездный город по делам, и просят отвезти их в банк. Трубя в клаксон, Козлевич мчит их в Сибирский кооперативный банк. Работы на весь день. Козлевич и его верный Сайгак-ага — непременно участники всех каинских свадеб, всех экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за

город, на озёра, целые семьи. Раздаётся бессмысленный смех детей, ветер дёргает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофёра и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в Северо-Американских Соединённых Штатах (верно ли, в частности, что Форд каждое утро покупает себе новый автомобиль).

Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Каинске. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъёмными мостами и флагами.

3.

Сначала подвели свадьбы.

В Каинске под свадебные процессии привыкли нанимать тройки, а в Барабе тройка — это не транспорт, а обряд. Лошадям вплетали в гривы ленты, на дугу вешали колокольцы, ямщик надевал шапку с павлиньим пером, и посажёные отцы не соглашались ни на какой другой экипаж, даже если бы им предложили аэроплан. Козлевича на свадьбы не звали. Экскурсий в Каинске не было. Семьи по воскресеньям ездили на озёра на собственных телегах, потому что в телегу помещалось семь человек, самовар и бочонок с огурцами, а в Сайгака-агу — только пятеро без самовара.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович.

В первый же вечер, озарённый неяркими керосиновыми фонарями, к Козлевичу, который весь день бесплодно простоял на Базарной площади, подошли четверо мужчин в праздничных пиджаках. Долго и молчаливо они вглядывались в машину. Потом один из них, плотный, с часовой цепочкой через живот, неуверенно спросил:

— Всем можно кататься?

— Всем, — ответил Козлевич, удивляясь робости каинских граждан. — Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофёра донеслись страстные

вздохи и слова: «Прокатимся, Пётр Фомич, после правления? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека — не дорого. Да и не из своих же... Чего ж неудобного?»

И впервые поместительная машина приняла в своё кожаное лоно каинских граждан. Это было правление маслоартели «Барабинское единство» в полном составе: председатель, казначей и два члена ревизионной комиссии. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистом ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затаили: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Козлевич взял вторую скорость. Промелькнули тёмные очертания маслозавода, и машина выскочила в поле, на лунную дорогу к озеру Убинскому.

Через полчаса председатель вспомнил, что у него с собой бутылка. Через час выяснилось, что бутылка есть и у казначея, и у обоих ревизоров. К озеру подъехали уже с песней, которой нет ни в одном сборнике. На берегу пели «Ревела буря, гром гремел», потом «Из тайги, тайги гремучей», потом снова «Ревела буря». Под утро председатель артели стоял по колено в Убинском озере и произносил речь о процветании, обращаясь к спящим уткам.

На обратном пути ревизионная комиссия единогласно утвердила расходы на поездку как «командировочные по изучению рынка сбыта».

Только тогда Козлевич понял, почему мужчины, прохо-

дившие днём мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Новые пассажиры, подобно первым, являлись под покровом темноты. Это были председатели других артелей, казначеи, бухгалтеры уездного кредитного товарищества, агенты Закупсбыта и, однажды, сразу трое гласных уездного земского собрания. Все они начинали с невинной прогулки за город. Но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полверсты. По-видимому, каинцы не представляли себе, как можно пользоваться автомобилем в трезвом виде. Сайгака-агу они считали гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь. Две поездки сопровождалась девицами из Татарска, которых привозили на поезде и увозили на нём же, а одна — ящиком мадеры, выписанной из Омска на счёт кооперативного культурфонда.

Всё шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажжёнными фарами вдоль озёр, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днём, одурев от бессонницы, мыл машину. Козлевичу было стыдно перед Сайгаком-агой. Ему казалось, что старик смотрит на него с укором своими разными фарами.

Каинцы прожигали жизнь почему-то на деньги, принадлежавшие пайщикам, артелям и кооперации. Но пока масло было дорогим, этого никто не замечал. Во времена процветания деньги в артельных кассах не кончались. Они при-

ходили из Лондона быстрее, чем председатели успевали их пропивать.

4.

А осенью двадцать девятого года масло рухнуло.

Касса за кассой, артель за артелью — Бараба начала лопаться, как пузыри на весеннем льду. В лопнувшие артели пришли ревизоры, за ревизорами — конкурсное управление, за конкурсным управлением — судебный следователь. Следователь был молодой человек из Томского университета, с университетским значком и с тем выражением лица, какое бывает у людей, которые прочли «Собрание узаконений» от начала до конца и запомнили. Он раскрыл артельные книги и нашёл в них загадочные статьи расхода: «командировочные по изучению рынка сбыта», «культмассовая работа с пайщиками», «изучение передового опыта маслоделия на озере Убинском». Изучение передового опыта проходило всегда по ночам.

Следователь спросил, на чём ездили изучать опыт.

И Козлевич, против своей воли, снова погрузился в пучину Уголовного уложения — на этот раз в ту его главу, которая говорит о растрате паевых средств должностными лицами кооперативных товариществ.

Начались процессы. Сибирь — правовое государство, и в правовом государстве суд не торопится, зато ничего не забывает. В каждом процессе главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Солгать он не мог: он дал себе

слово начать честную жизнь и держал его с упорством человека, которому эта честность стоила восьми месяцев перевозки машины на телегах. Кроме того, он вёл путевую книжку. Козлевич был механик и любил точность. В его книжке было записано всё: дата, время, маршрут, вёрсты, расход бензина и, в графе «Примечания», состав пассажиров и количество бутылок.

Мировой судья Каинского участка, листая путевую книжку, сказал, что за двадцать лет практики не видел более полного вещественного доказательства.

Правдивые показания Козлевича сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах, признавались во всём. Он погубил правление маслоартели «Барабинское единство», правление «Трудового масла», правление «Сливок свободы» и ревизионную комиссию уездного кредитного товарищества. Все они, согласно Уголовному уложению, лишались права быть избранными в правление кооперативных товариществ сроком на пять лет. Для бывших председателей это было хуже тюрьмы. Тюрьма кончается, а позор в кооперации — никогда.

Последней его жертвой пала экспедиция томского акционерного общества «Сибкино», снимавшая в окрестностях Каинска историческую картину «Кучум и княжна». Экспедиция прибыла в Барабу снимать степные сцены. Деньги на картину дали акционеры, и, как выяснилось на суде, вся степная натура была снята в первые три дня, а остальные

шесть недель экспедиция изучала на Сайгаке-аге ночную жизнь барабинских озёр — с актрисой, игравшей княжну, двумя хористками и бочонком омского пива. Весь филиал получил по два года. А фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в камеру вещественных доказательств мирового суда. Там он хранится и поныне — рядом с путевой книжкой Козлевича и пустым ящиком из-под мадеры кооперативного культфонда.

Лишь об одном человеке Козлевич на всех процессах говорил с уважением. Это был председатель артели «Барабинская заря», огромный, тихий, громоподобно честный человек, который ни разу не сел в машину. «Не катался, — повторял Козлевич судье. — Ни разу. Я ему предлагал. Он говорил: масло ждать не будет». Председатель «Барабинской зари» вышел из всех ревизий чистым. Артель его лопнула вместе со всеми. Теперь он переносил дам через лужу у вокзала по три копейки. Честность, как выяснилось, в кризис защищает от суда, но не от лужи.

5.

После этого наступил крах.

Зелёного автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Базарную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столбик с табличкой «Биржа автомобилей». В течение многих месяцев Адам Казимирович не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные во время ночных поездок.

Потом пришла другая беда. Из Омска приехал агент Сибирско-Американского общества автомобильного кредита — забирать машины, не оплаченные в рассрочку. Он забрал «Форд» уездного агронома, забрал автобус, забрал «Шевроле» ветеринара и пришёл к Козлевичу.

Агент долго ходил вокруг Сайгака-аги. Он заглянул под капот, увидел мотор «Форда» и потребовал договор рассрочки на мотор. Увидел коробку «Шевроле» и потребовал договор на коробку. Козлевич объяснил, что мотор куплен у старьёвщика, коробка — со свалки, мост поднят из Оби рыбаками, а сама машина — за барана и два рубля у аксакала Байжана из аула Акбулак, который договоров не подписывает, потому что неграмотен, но слово держит.

Агент растерялся. Его инструкция, составленная в Нью-Йорке, предусматривала отчуждение автомобиля при неуплате взноса. Она не предусматривала автомобиля, за ко-

торый никогда не было ни одного взноса. Агент позвонил в Омск. Омск позвонил в Нью-Йорк. Нью-Йорк ответил, что такого автомобиля не может быть, и попросил прислать фотографию. Пока ждали фотографию, агента отозвали — в Татарске нашлись ещё два «Форда».

Так Сайгак-ага стал единственным автомобилем в Барабинской степи, не принадлежавшим американскому банку. Но и это не принесло Козлевичу ни копейки. Свободный автомобиль в городе, где никто не хочет ездить, — это всё равно что свободный депутат в думе, где никто не хочет голосовать.

Тогда он пошёл на жертвы. На дверце машины он вывел белой краской ямщицкий клич, на его взгляд весьма заманчивый: «Эх, залётная!» — и снизил цену с пяти рублей в час до трёх. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофёр медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

— Воздух-то какой! Прокатимся, что ли?

Должностные лица высовывались из окон и под стрёкот ундервудов отвечали:

— Сам катайся! Душегуб!

— Почему же душегуб? — чуть не плача, спрашивал Козлевич.

— Душегуб и есть, — отвечали служащие. — Ты ж всё в книжку пишешь!

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шо-

фёр. — На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и закрывали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым. Тем более в кризис.

Владелец «Эх, залётной!» рассорился со всем городом. Он ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь бывшего председателя артели в праздничном пиджаке, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

— Растратчик! А вот я тебя сейчас под ревизию подведу!

Бывший председатель вздрагивал, индифферентно поправлял часовую цепочку на животе и, делая вид, что крик относится не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и монотонно читал вслух из карманного издания Уголовного уложения, которое теперь всегда возил с собой:

— «Растрата должностным лицом кооперативного товарищества паевых средств, вверенных ему в силу его служебного положения, карается...»

Бывший председатель трусливо убегал.

— «...с лишением права быть избранным в правление кооперативного товарищества сроком на пять лет!» — кричал Козлевич вдогонку.

Это была самая страшная часть статьи. Козлевич знал это и всегда кричал её громче остального.

Но всё это если и приносило шофёру удовлетворение, то

только моральное. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принимать какое-то решение.

6.

В таком воспалённом состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине на Базарной площади, с отвращением глядя на полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл в Барабу раньше срока и граждане не поверили в него, а когда поверили — было уже поздно. Козлевич был так погружён в печальные размышления, что не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.

— Оригинальная конструкция, — сказал наконец один из них, в фуражке с белым верхом. — Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки «Зингер»? Небольшое приспособление — и получилась прелестная сноповязалка системы «Мак-Кормик».

— Отойди, — угрюмо сказал Козлевич.

— То есть как это «отойди»? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламный клич «Эх, залётная!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно залететь?

И впервые за каинский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завёл тяжело застучавший мотор. Сайгак-ага кашлянул, чихнул синим дымом и затрясся всеми

своими французскими, американскими и новониколаевскими частями.

— Пожалуйте, — сказал Козлевич. — Куда везти?

— На этот раз — никуда, — заметил Балаганов. — Денег нету. Ничего не поделаешь, папаша. Кризис.

— Всё равно, садись! — закричал Козлевич отчаянно. — Повезу даром. Пить не будете? Пайщиков не будете обманывать? Голые в озере купаться не будете при луне? Эх! Залётная!

— Ну что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усаживаясь рядом с шофёром. — У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны купаться в голом виде?

— Тут все такие, — ответил шофёр, выводя машину на Проспект Свободной Сибири. — Растратчики! Кооперативных денег!

Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но пани Козлевич давно уже скончалась в Томске от горя, когда узнала, что сын её Адам приобретает известность как вор-рецидивист. И шофёр рассказал новым пассажирам всю историю — про исправдом, про аул Акбулак, про ночные поездки, про путевую книжку, про суды и про агента, который так и не прислал фотографию в Нью-Йорк.

Машина медленно ехала по Проспекту, мимо собора, ми-

мо синагоги, мимо общей мостовой, мимо витрины со спящим сепаратором. Встречные шарахались к заборам. Один гражданин в праздничном пиджаке, узнав машину, поспешно перебежал на другую сторону и спрятался за водокачку.

— Видите? — с горечью сказал Козлевич. — Бывший казначей «Сливов свободы». Пять лет без права быть избранным. Он меня как увидит — прячется.

— Куда теперь ехать? — с тоской закончил он свою историю. — Куда податься?

Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:

— Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягнёнок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шофёров такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль — и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже — у нас автомобиля нет. И всё-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедem вместе?

— Куда? — спросил шофёр.

— Во Владивосток, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдётся. Во Владивостоке любят всё экзотическое и охотно на нём катаются. Там, говорят, ещё есть люди, у которых машины не отобрал банк. Матросы, японцы, американцы. Поедем?

— Во Владивосток? — Козлевич даже притормозил. — Это же пять тысяч вёрст!

— Четыре тысячи восемьсот, — поправил Остап. — Я

считал по карте.

Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел краски. Он развернул перед смущённым шофёром удивительные дали — Обь, Енисей, Байкал, Амур, Тихий океан — и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.

— А в Каинске вам терять нечего, кроме полосатого столбика, — убеждал он. — По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш — идеи наши!

Козлевич остановил машину и, всё ещё упираясь, хмуро сказал:

— Бензину мало.

— На сорок вёрст хватит?

— Хватит на шестьдесят.

— В таком случае всё в порядке. Как я вам уже сообщал, в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через сорок вёрст, у станции Убинская, вас будет прямо на дороге поджидать большая железная бочка с американским бензином. Вам нравится американский бензин?

— Другого в Сибири нет, — застенчиво сказал Козлевич.

— Тем лучше. Значит, понравится. И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более: вас будут просить, чтобы вы её приняли. С оркестром.

— Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетёте?

— Шура, — так же тихо ответил Остап, — вы читали в

жизни что-нибудь, кроме брошюры о Потанине для начальных школ?

— Нет, — признался Балаганов.

— Тогда молчите и учитесь. Жизнь, Шура, иногда печатается в газетах. Мелким шрифтом, на четвёртой странице. Но печатается.

И Остап вытащил из кармана газету «Сибирская жизнь» трёхдневной давности. Он нашёл её на сиденье Сайгака-аги, пока Козлевич рассказывал про аул Акбулак. Козлевич, как все правдоискатели, был человек начитанный и каждое утро покупал газету, чтобы узнать, кого ещё посадили по его показаниям.

7.

На четвёртой странице «Сибирской жизни», между объявлением о распродаже отобранного имущества маслоартели «Сливки свободы» и рекламой зубного порошка «Тайга», было напечатано:

«ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ АВТОПРОБЕГ. ЧЕЛЯ-
БИНСК — ВЛАДИВОСТОК. Процветание за углом!»

Ниже мелким шрифтом сообщалось, что пробег организован Сибирско-Американским обществом автомобильного кредита совместно с компанией «Форд» и компанией «Стандард Ойл». Цель пробега — доказать, что сибирские тракты пригодны для автомобильного движения, и вернуть сибирякам веру в автомобиль. В пробеге участвуют сорок машин марки «Форд». Пробег прошёл Курган и Петропавловск, в настоящее время находится в Омске и в ближайшие дни проследует через Каинск, Новониколаевск, Мариинск, Красноярск, Иркутск и Читу до Владивостока. Земские управы, согласно циркуляру министерства торговли и промышленности, приглашаются оказать участникам пробега всемерное содействие. Компания «Стандард Ойл» оставляет каждой управе по пути следования бочку бензина «для нужд земства и встречи пробега».

Девиз пробега — «Процветание за углом!» — принадлежал американскому президенту Гуверу. Президент Гувер

повторял его с осени двадцать девятого года с упорством, которое в Сибири могли сравнить только с упорством президента Вологодского, повторявшего своё «Единство и процветание» с двадцать седьмого.

Сибиряки встретили девиз с пониманием.

— Процветание за углом, — повторил Козлевич, прочитав объявление. — Это у нас тоже говорили. В двадцать восьмом году. Только у нас без угла. У нас прямо так — «процветание». Ну и где оно?

— За углом, Адам Казимирович. Вы же видите, написано.

— Это я понимаю. Только за каким углом? Я в Каинске все углы объехал.

— Американцы, — сказал Остап, — люди практичные. Если они говорят, что за углом, значит, за углом. Наверное, его везут. Медленно, на «Форде», по сибирскому тракту. Поэтому и не доехало ещё.

— А может, там старика Вологодского везут? — вдруг оживился Балаганов. — Он же столько лет долбил про процветание. Может, его американцы для пробега наняли? Вроде знамени?

Остап посмотрел на Балаганова с новым уважением.

— Шура, это первая мысль, которую я от вас слышу. Её надо записать. Нет, Вологодского не везут. Вологодский в Томске, заседает. Но в Каинске, когда пробег приедет, через полчаса будут говорить именно это. Вот увидите.

Впоследствии так и оказалось. По всей Барабе, от Каинска

до Убинской, мужики, встречая пробег, спрашивали у шофёров, не везут ли они в какой-нибудь из машин президента Вологодского, и, получив отрицательный ответ, говорили: «Ну, значит, ещё за углом».

— Но я не понимаю, — сказал Козлевич, морща лоб. — Какой сейчас пробег? У кого машины? Банк же у всех забрал.

— Вот именно, — сказал Остап с удовольствием человека, объясняющего простую вещь. — Банк у всех забрал. Куда он их дел? Поставил на склад. Сколько их там стоит, в Омске и в Новониколаевске? Тысячи. Кто их купит? Никто, потому что у людей нет денег. А почему у людей нет денег? Потому что кризис. А почему кризис? Тут, Адам Казимирович, американцы рассуждают очень глубоко. Кризис, по их мнению, происходит от недостатка оптимизма. У людей нет машин — и поэтому они не верят в машины. А раз не верят — не покупают. А раз не покупают — нет машин. Порочный круг. Как его разорвать? Очень просто. Надо взять отобранные машины, посадить в них банковских конторщиков в кожаных крагах и провезти по всей Сибири с оркестром. Люди увидят, что машины ездят, — и снова поверят. А когда поверят — купят. В рассрочку. И кризис кончится. Всё очень логично.

— А те, у кого забрали, — медленно сказал Козлевич, — они же будут стоять у дороги и смотреть?

— Будут, — согласился Остап. — И даже махать. Каждый

узнает свой «Форд» по вмятине. Это будет очень трогательно, Адам Казимирович. Как проводы полка.

Козлевич вспомнил «Форд» уездного агронома, который увёз агент. У этого «Форда» была вмятина на левом крыле — агроном наехал на корову в двадцать восьмом году, во времена процветания. Козлевич представил себе, как агроном стоит на обочине и смотрит на свою вмятину, проезжающую мимо него в сторону Тихого океана, и ему стало нехорошо.

— А нам-то что с этого пробега? — спросил он.

— Нам? — Остап сложил газету. — Нам, Адам Казимирович, бочка бензина в каждом уезде. И хлеб-соль. И оркестр. И, может быть, ночлег в земской больнице. Пробег идёт на восток, во Владивосток, — то есть туда же, куда и мы. Мы пойдём впереди пробега на один день. Земства будут ждать головную машину. Головной машиной будем мы.

— Но мы же не «Форд»!

— Мы лучше «Форда». Мы единственная машина в Сибири, которую не отобрал банк. Это, если хотите, символ. Символ независимости сибирского автомобилизма от американского капитала. Председатели управ это оценят.

Козлевич подумал. Потом подумал ещё. Жизнь вдруг показалась ему лёгкой и весёлой, как в первый день после выхода из исправдома. Ему захотелось ехать во Владивосток немедленно.

— Объявляю большой скоростной пробег Каинск — Владивосток открытым! — торжественно сказал Остап. — Ко-

мандиром пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... Как ваша фамилия?.. Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждает, что бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за всё. Только вот что, Козлевич: надпись «Эх, залётная!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы. Кроме того, в Каинске её знает каждый растратчик, а растратчики, Адам Казимирович, народ злопамятный.

8.

Через два часа зелёная машина со свежим тёмно-зелёным пятном на дверце медленно выкатилась из сарая на окраине и в последний раз покатила по улицам Каинска. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на заднем сиденье, обитом потрескавшейся французской кожей, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчинённых.

— Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?

— Сайгак-ага, — ответил Козлевич.

Остап, уже набравший воздух для речи о том, что машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя, медленно выпустил воздух обратно.

— Как вы сказали?

— Сайгак-ага, — повторил Козлевич твёрдо. И, обернувшись, добавил с некоторым вызовом: — Это не я придумал. Это аксакал Байжан. Я слово дал, что имя менять не буду. Обидится.

— Кто обидится? Аксакал?

— Машина, — сказал Козлевич и бережно погладил рулевое колесо. — Она старая. Ей почтение нужно. Я по утрам

говору: «Сайгак-ага, заводись, пожалуйста». Заводится. А один раз сказал: «Ну, ты, рухлядь!» — так три дня не заводилась. Пришлось извиняться.

Балаганов перестал тереть медные части и посмотрел на шофёра с суеверным уважением.

Остап помолчал. Потом прислушался к голосу машины — к её астматическому кашлю, к звону французского кузова, к ворчанию американского мотора, к протяжному сайгачьему крику клаксона, которым Козлевич как раз пугал курицу на перекрёстке. И лицо его приняло торжественное выражение.

— Козлевич, — сказал он. — Вы сами не понимаете, какое сокровище вам досталось. Я хотел предложить машине имя. Я даже придумал его. Но вы правы, а я нет. Посмотрите на наш экипаж. Командор — сын турецкоподданного. Бортмеханик — сын Потанина, юридически посторонний. Водитель — сибирский поляк, католик и бывший рецидивист. Машина — французская, с американским мотором, из казахского аула, с новониколаевскими фарами. Это не экипаж, Адам Казимирович. Это Сибирская республика в миниатюре. И у такого экипажа должен быть старший, которого все уважают. Хотя бы один. Пусть это будет машина. Сайгак-ага! Кто против? Единогласно.

— Здравствуйте, Сайгак-ага, — вежливо сказал Балаганов, обращаясь к радиатору.

Клаксон ответил ему протяжным носовым криком, и всем показалось, что машина довольна.

Зелёный Сайгак-ага, скрипя всеми своими частями, помчался по Проспекту Свободной Сибири, миновал бульвар имени Ядринцева, где абитуриентки подняли головы от книг, обогнул собор и синагогу по общей мостовой, которую не чинила ни одна из конфессий, и вылетел на Базарную площадь.

Там взору экипажа представилась бытовая картина.

С площади, со стороны гусяного ряда, во весь дух бежал человек в соломенной шляпе-канотье, прижимая к груди огромного белого барабинского гуся. Гусь вытягивал шею и шипел. За человеком, размахивая кто коромыслом, кто безменом, кто пустой корзиной, бежали три дородные торговки и одна совсем маленькая старушка, которая отставала, но кричала громче всех: «Держи! Мой гусь! Медалист! С уездной выставки!» Позади, не спеша, шёл земский милиционер и на ходу доставал из планшета бланк протокола.

— Паниковский! — ахнул Балаганов. — С гусём!

Человек в канотье, заметив машину, сделал невероятный зигзаг, увернулся от коромысла и с гусём наперевес бросился прямо под колёса Сайгака-аги.

— Подберём, — коротко распорядился Остап. — Козлевич, притормозите. Нарушителей конвенции на дороге не бросаем. Это противоречит духу правового государства.

Козлевич притормозил. Паниковский, задыхаясь, перевалился через борт на заднее сиденье, гусь вывалился из его рук и сел на колени командору, как на гнездо.

— Гоните! — завизжал Паниковский. — Гоните! Это жалкие, ничтожные люди!

— Сайгак-ага, пожалуйста, — сказал Козлевич и выжал газ.

Сайгак-ага рванулся, выбросив синий клуб дыма прямо в лицо земскому милиционеру, который как раз начал писать в протоколе слово «гражданин». Торговки остановились. Старушка погрозила вслед безменом. Милиционер, откашлявшись, дописал протокол по всей форме, указав в графе «приметы транспортного средства»: «машина зелёная, старая, кричит по-звериному».

А зелёная машина, кашляя и звеня, уже выезжала из Каинска на восток, туда, где за последними огородами началась бесконечная, плоская, сверкающая озёрами Барабинская степь и где, как было достоверно известно из газеты «Сибирская жизнь», за каким-то углом их ждало процветание.



Глава IV. Обыкновенный чемоданишко

1.

Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, в кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и в белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки во дворе дома номер шестнадцать по Семёновской улице. Очутившись на деревянном тротуаре, он остановился и негромко сказал:

— Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал.

Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Семёновская улица была пуста. Только у ворот соседнего двора сидел на корточках старый китаец в стёганой куртке и курил длинную трубку с крошечной медной чашечкой. Китаец смотрел перед собой глазами человека, который давно понял про мир всё и не нашёл в нём ничего, ради чего стоило бы вставать. На человека в сандалиях он не обратил никакого внимания. Он не обращал внимания ни на кого уже лет тридцать.

Июльское утро ещё только начинало формироваться.

Владивостокское утро вообще формируется медленно и неохотно, как ученик, которого будят в школу. Сначала с Амурского залива приходит туман. Он вползает в город по оврагам и распадкам, заливая улицы до вторых этажей, и город исчезает: остаются только верхушки сопки, крыши, кресты Успенского собора и мачты в бухте Золотой Рог, торчащие из белой мути, как пальцы тонущих. Потом солнце начинает проедать туман сверху, и город выплывает из него по частям, как фотография в ванночке с проявителем. Сперва появляются сопки, потом крыши, потом вывески, потом мостовая и, наконец, люди.

Сейчас проявились только сопки и крыши.

Внизу, за крышами, в Золотом Роге, стояли на рейде корабли. Сквозь туман их было видно плохо, но человек в сандалиях знал их наизусть, как знает свою улицу всякий, кто ходит по ней каждый день. У дальнего пирса стояли два серых эсминца Тихоокеанского флота Сибирской республики — «Бодрый» и «Решительный», купленные адмиралом Колчаком у американцев в двадцать шестом году, в кредит, по случаю списания. На «Решительном» уже третий месяц меняли котёл; котёл заказали в Америке, а Америка, как известно, переживала кризис и с котлами не торопилась. «Бодрый» стоял без котла по другой причине: его котёл сняли и поставили на «Решительный», пока не придёт американский, а американский всё не шёл. Таким образом, в строю у республики был ровно один эсминец, но в каждый данный

момент неизвестно какой. За эсминцами, ближе к выходу из бухты, стоял на якоре большой белый японский пароход «Хокуё-мару». Пароход был торговый. Он пришёл за лесом и рыбой. Но выкрашен он был в такой ослепительно-белый цвет, так чисто были надраены его медные части и так ровно дымила его труба, что рядом с ним эсминцы республики казались двумя бедными родственниками, приехавшими из деревни на свадьбу к богатому дяде.

Человек в сандалиях посмотрел на корабли, на эсминцы, потом на японский пароход и пошёл вниз, к центру.

Час дворников уже прошёл. Час разносчиков ещё не начинался.

Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда во Владивостоке светло, тихо и сыро, как в погребке; когда кажется, что этот город, стоящий на краю земли, — самый спокойный город на свете и что ничего плохого с ним никогда не случится. Но уже доносится с окраин, со стороны Первой Речки и Гнилого угла, далёкий топот и скрип: это идут в город китайские разносчики. Сейчас они хлынут на улицы с бамбуковыми коромыслами на плечах — зеленщики с корзинами капусты и редиски, водоносы с ведрами, продавцы горячих пампушек, точильщики, старьевщики, и каждый будет кричать на своём наречии, и город наполнится певучим, непонятным, торговым гулом. На миг покажутся портовые грузчики с крючьями за поясом и тут же скроются в воротах порта. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столи-

ках залиются звоном мириады будильников (фирмы «Павел Буре» потише, американской фирмы «Биг Бен» погромче), и замычат спросонок служащие, падая с высоких кроватей, купленных в рассрочку ещё в лучшие времена. Час разносчиков кончится, наступит час служилого люда.

Но было ещё рано. Служащие ещё спали под фикусами.

2.

Дом номер шестнадцать по Семёновской улице стоял в Миллионке.

Миллионкой во Владивостоке называют китайский квартал в самом центре города, между Семёновской и Светланской, в двух шагах от губернской управы, городского театра и лучших магазинов. Откуда взялось название, никто толком не знает. Одни говорят, что когда-то здесь жил китайский купец-миллионер. Другие — что здесь живёт миллион китайцев. Третьи утверждают, что в Миллионке за одну ночь можно проиграть миллион, выиграть миллион, выкурить на миллион опиума и купить за миллион всё что угодно, от японского пистолета до корейской невесты. Все три объяснения неверны, но все три по-своему справедливы.

Миллионка — это лабиринт. Снаружи она выглядит как ряд обыкновенных кирпичных домов в два и три этажа, с лавками внизу и квартирами наверху. Но стоит войти в любую подворотню, как начинаются дворы. Двор ведёт в другой двор, тот — в третий, третий — в узкий проход между стенами, проход — на деревянную галерею, галерея — на крышу, крыша — в окно соседнего дома. По галереям сохнет бельё, в нишах горят красные бумажные фонари, из дверей пахнет жареным луком, соевым соусом, сладким дымом и ещё чем-то, чему нет названия ни в одном языке. Здесь живут китай-

цы, корейцы, немного японцев, немного русских из тех, кому больше негде жить, и неизвестное число людей неизвестной национальности, которых никогда не видела ни одна перепись. Земская милиция заходит в Миллионку только днём, только вчетвером и только по очень большому делу. Податной инспектор не заходит в неё вовсе. В Миллионке не платят налогов, не голосуют на выборах и не читают «Собрания узаконений». Это единственное место во Владивостоке, куда не дошла Сибирская республика.

Человек в сандалиях снимал в доме номер шестнадцать комнату на втором этаже, с окном во двор. Он платил за неё шесть рублей в месяц, вовремя, и хозяин, старый китаец Ли, считал его самым честным и самым бедным жильцом во всей Миллионке. Это было почти правдой.

3.

Человек в сандалиях прошёл по Светланской, почти никого не встретив на пути. Светланская, главная улица Владивостока, тянулась вдоль бухты Золотой Рог, то поднимаясь на сопку, то спускаясь к воде. На ней стояли лучшие здания города: универсальный магазин «Кунст и Альберс» с зелёным куполом и немецкими часами на фасаде, гостиница «Версаль», губернская управа, почтамт, театр. Сейчас всё это ещё плавало в тумане, и универсальный магазин без нижнего этажа был похож на корабль без киля.

На Морской вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда туда прибыл ночной поезд из Хабаровска и из него стали выходить пассажиры с узлами, корзинами и детьми. Больно ударившись несколько раз об их корзины, он подошёл к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель, бывший унтер-офицер Сибирской флотилии, с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах и на флоте, взглянул на квитанцию, потом на предъявителя, потом снова на квитанцию и только после этого выкинул на прилавок чемодан. Предъявитель в свою очередь расстегнул кожаный кошелёчек, со вздохом вынул оттуда десятикопеечную монету и положил её на прилавок, сделанный из старых, отполированных локтями корабельных досок.

Очутившись на привокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел его со всех сторон и даже потрогал рукой его белый портфельный замочек.

Это был обыкновенный чемоданишко, сделанный из фанеры и оклеенный искусственной кожей под крокодила. В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки, две перемены сатиновых косовороток, гребёнку, трусики, брошюру «Задачи Союза сибирской молодёжи в деревне» и три крутых сдавленных яйца. Кроме того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завёрнутый в газету «Далёкая окраина». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки в клетку, подтяжки на роликах, домашние туфли с языками, флакон тройного одеколona и стёганое китайское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что, завёрнутое в «Далёкую окраину». Но это уже не грязное бельё, а бледная варёная курица.

Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в трамвай. Владивостокский трамвай, в отличие от томского, существовал с двенадцатого года и был предметом гордости горожан, хотя состоял всего из одной линии, проложенной вдоль Светланской и дальше к Первой Речке. Вагоны были бельгийские, жёлтые, с открытыми площадками. Кондуктор, бывший матрос, объявлял остановки голосом, каким когда-то объявлял воздушную

тревогу.

Трамвай доставил человека в сандалиях на другой конец города — к вокзалу Первая Речка. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что у Морского вокзала. Он сдал свой чемоданишко на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя, бывшего вахмистра Уссурийского казачьего войска, который брал багаж с таким видом, будто принимал присягу.

Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он сел в обратный трамвай, сошёл на Светланской и вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность.

4.

Колонны служащих текли по Светланской вниз, к центру, обтекая китайских разносчиков с коромыслами, которые уже заполнили тротуары и кричали каждый своё.

И вдруг сверху, со стороны Нагорного парка, донёсся барабан.

Барабан бил неровно, как бьёт человек, который научился этому недавно и ещё не уверен, что барабан на его стороне. За барабаном пискнул и захрипел горн. Служащие замедлили шаг и стали оглядываться. Разносчики замолчали. Китаец-зеленщик, нёсший на коромысле две корзины с редиской, отступил к стене и замер, как замирает в лесу зверь, услышавший незнакомый звук.

Из-за поворота Светланской выходила колонна.

Это были человек сорок мужчин в чёрных рубашках, перетянутых портупьями. Впереди шёл знаменосец с чёрным знаменем, на котором был вышит золотой двуглавый орёл, а под орлом — слова «Бог. Нация. Труд». За знаменосцем шёл барабанщик, за барабанщиком — горнист, за горнистом — плотный человек лет пятидесяти с подстриженными усами и офицерской выправкой, в чёрной рубашке, в бриджах и в высоких сапогах, начищенных до такого блеска, что в них отражалась вся Светланская вместе с японским пароходом. На левом рукаве у плотного человека была повязка с

загнутым крестом, который русские фашисты позаимствовали у немецких и считали древним арийским символом, хотя видели его до этого главным образом на китайских фарфоровых вазах в Миллионке. За плотным человеком шагали остальные — по четыре в ряд, вразнобой, кто в ногу, кто нет. Над колонной покачивались плакаты: «Россия — русским!», «Долой масонскую республику!», «Долой жидовскую думу!» и почему-то «Требуем снижения цен на рыбу!» — этот плакат, как выяснилось впоследствии, несли двое рыбаков с Русского острова, которые вступили в организацию только вчера и ещё не разобрались в программе.

Это был Приморский отдел Российской фашистской организации — той самой, что вот уже пять лет существовала в Харбине, издавала там газету «Наш путь» и обещала России возрождение на основах православия, национального единства и корпоративного государства по итальянскому образцу. Во Владивостоке отдел открылся весной. Состоял он из бывших офицеров, которые за десять лет так и не простили республике мира с Москвой; из сыновей погибших офицеров, которые не простили ей тем более; из нескольких разорившихся лавочников, не простивших ей кризиса; и из молодых людей без работы, которым было всё равно, кого не прощать, лишь бы дали чёрную рубашку и сапоги.

В третьем ряду, если бы человек в сандалиях знал их, он узнал бы двух молодых людей, похожих друг на друга, как два патрона из одной обоймы. Это были Никеша и Владя,

конторщики омской элеваторной компании, которые три года назад командовали эскадронами без лошадей на конспиративных собраниях у омской гадалки Елены Боур. Элеваторная компания разорилась вместе с хлебом, и Никеша и Владя переехали во Владивосток искать счастья. Счастья не нашлось. Нашлась чёрная рубашка. Теперь они командовали звеньями, в каждом из которых было по три человека, и это было ровно на три человека больше, чем у них было в эскадронах.

Колонна спускалась по Светланской медленно, с той торжественностью, которая плохо давалась людям, не привыкшим ходить в ногу по мостовой с выбоинами. Справа и слева от неё, по краям мостовой, шли четверо земских милиционеров в белых летних гимнастёрках. Они шли не потому, что хотели, а потому, что так полагалось по закону. Сибирский закон о собраниях и шествиях, принятый думой в двадцатом году, разрешал любое мирное шествие любой зарегистрированной организации при условии предварительного уведомления городской управы и согласования маршрута. Российская фашистская организация была зарегистрирована. Управа была уведомлена. Маршрут был согласован: от Нагорного парка по Светланской до памятника адмиралу Невельскому и обратно. Милиционеры несли с собой копию разрешения, и старший из них время от времени сверял по ней маршрут, следя, чтобы колонна не свернула в переулок, не предусмотренный согласованием.

На противоположном тротуаре, у почтамта, стояли трое портовых грузчиков с самодельным плакатом на палке: «Долой фашистскую сволочь! Да здравствует единый фронт трудящихся!» Это была контрдемонстрация легальной Коммунистической партии Сибири, тоже согласованная с управой, но с другим маршрутом — от почтамта до почтамта, то есть стоя на месте. Возле грузчиков стоял пятый милиционер. Он внимательно прочёл плакат, достал из кармана разрешение коммунистов, сверил текст и вежливо заметил, что слово «сволочь» в уведомлении не значилось и, следовательно, является самовольной поправкой. Грузчики, посоветовавшись, закрыли слово «сволочь» кепкой. Получилось: «Долой фашистскую [кепка]! Да здравствует единый фронт трудящихся!» В таком виде плакат был признан соответствующим закону.

Служащие останавливались на тротуарах и смотрели.

Большинство смотрели с любопытством, как смотрят на бродячий цирк. Некоторые посмеивались. Молодой человек в соломенной шляпе громко сказал: «Опять ряженые!» — и его спутница засмеялась. Старичок в чесучовом пиджаке, по виду бывший чиновник таможни, сказал, что в его время за такое сажали в кутузку, а теперь демократия, и пусть ходят, всё равно никто их не слушает. Кто-то крикнул из толпы: «Цены на рыбу снижайте сами!» — и рыбаки с Русского острова смущённо опустили свой плакат. Китаец-зеленщик с редиской стоял у стены и смотрел на плакат «Россия — рус-

ским!» долго и внимательно, хотя читать по-русски не умел. Он умел читать лица. Лица ему не понравились.

Вообще-то в Германии такие колонны ходили уже давно, и там тоже все считали их смешными.

Человек в сандалиях стоял в толпе служащих и тоже смотрел. Но смотрел он не так, как другие. Он не смеялся, не возмущался и не пожимал плечами. Он смотрел на колонну с неподвижным, сосредоточенным вниманием, каким опытный пассажир смотрит на расписание поездов: ещё не его поезд, но может стать его. Он пересчитал колонну — сорок два человека, считая рыбаков. Он отметил, что весной их было двадцать. Он посмотрел на японский пароход в бухте, потом на эсминец без котла, потом на милиционера, сверяющего маршрут по разрешению, — и что-то в его белых глазах на мгновение блеснуло и тут же погасло.

Колонна прошла. Барабан удалился. Китайцы снова закричали, предлагая редиску и пампушки. Служащие, вспомнив, что опаздывают, потекли дальше по Светланской. И человек в сандалиях потёк вместе с ними.

5.

Он остановился у большого четырёхэтажного здания на углу Светланской и Алеутской, с эркерами, башенкой на углу и узорной чугунной решёткой балконов. Над подъездом крупными бронзовыми буквами, каждая величиной с бочонок, было написано:

«АТЛАНТЬ»

А под ним, буквами поменьше: «Акционерное Тихоокеанское Ликвидационное Агентство по Недоимкам и Требованиям».

Это было бывшее здание гостиницы «Версаль», лучшей гостиницы Владивостока, построенной в девятом году на деньги, вырученные с японских концессий. В двадцатые годы «Версаль» был полон американских коммерсантов, японских рыбопромышленников, английских страховщиков и харбинских миллионеров, приезжавших во Владивосток поиграть в рулетку и поесть устриц. Осенью двадцать девятого года американцы уехали, японцы стали осторожны, англичане перестали страховать, а харбинские миллионеры сами превратились в харбинских должников. Гостиница опустела и лопнула. Здание купило с торгов только что учреждённое по закону думы агентство — «АТЛАНТ».

«АТЛАНТ» был созданием кризиса и жил кризисом, как гриб живёт упавшим деревом. По закону «О ликвидации

несостоятельных кооперативных товариществ и об урегулировании их обязательств» агентство принимало на себя все долги, пай, векселя, требования и претензии лопнувших маслоартелей, кредитных товариществ, рыбных кооперативов и лесных артелей Приморской, Амурской и Забайкальской губерний, а также их обязательства перед американскими банками по сельскохозяйственным кредитам. Агентство должно было всё это разобрать, рассортировать, оценить, взыскать то, что можно взыскать, списать то, что взыскать нельзя, и удовлетворить кредиторов в порядке очереди, установленной законом. Очередь, установленная законом, была длинная. Первыми шли американские банки, вторыми — Сибирский государственный банк, третьими — земства, четвёртыми — поставщики, и только пятыми, в самом конце, — пайщики, то есть те самые мужики и бабы, которые когда-то сдали в артель своё молоко и свои рубли. До пайщиков очередь не доходила никогда. Деньги кончались на земствах.

Агентство было учреждением огромным и солидным. В нём служили триста человек. У него были свои отделения в Хабаровске, Благовещенске, Чите и Верхнеудинске. Его возглавлял председатель правления, бывший товарищ министра финансов, человек с хорошими связями в Томске. И над всем этим, над тремя сотнями служащих и тысячами папок с долгами, возвышалось название, которое придумал сам председатель правления, большой любитель античности: «АТЛАНТ». Атлант держит на плечах небо. Агентство дер-

жало на плечах долги. Судя по выражению лиц служащих, долги были тяжелее.

Но как ни старались переделать гостиницу в учреждение, достигнуть этого так и не удалось.

Гостиница пёрла наружу. Как завхозы ни замазывали старые надписи, они всё-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало над дверью юридического отдела слово «Кабинеты», то на матовом стекле машинного бюро проступали водяные знаки «Горничная — звонить два раза», то обнаруживались на стене коридора нарисованные указательные персты с французским текстом «Pour les dames» и «Salle de billard». Служащие помельче сидели в бывших дешёвых номерах четвёртого этажа, где когда-то останавливались японские приказчики и китайские маклеры. Там ещё пахло камфарой и стояли железные умывальники. В номерах получше, где жили когда-то английские страховщики, разместились заведующие отделами. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездилось правление. В мраморных ваннах лежали дела лопнувших артелей, в альковах висели диаграммы, наглядно рисовавшие, как долг амурского рыбного кооператива перед американским банком превращается в долг агентства перед Сибирским госбанком, а тот — в долг Сибирского госбанка перед американским банком, после чего круг замыкается.

Финансово-счётный отдел помещался в бывшем ресторане «Версаля».

Это был огромный зал с зеркальными стенами и распис-

ным потолком. На потолке французский художник, выписанный в девятом году из Шанхая, изобразил пастушек Ватто: они качались на качелях, кормили барашков и улыбались кавалерам в напудренных париках. Под пастушками, за длинными рядами столов, сидели семьдесят счетоводов и бухгалтеров и вносили в толстые книги долги барабинских, амурских и приморских маслоделов. Иногда кто-нибудь из счетоводов поднимал голову от книги, видел над собой пастушку на качелях и долго смотрел на неё, как смотрит каторжник на облако.

6.

Человек в сандалиях поднялся по мраморной лестнице, прошёл через зал, где ещё стоял, как памятник прошлому, огромный дубовый буфет с резными виноградными гроздьями, и сел за свой стол у окна, под пастушкой, кормившей барашка.

Зал уже наполнялся служащими. Из ящиков вынимались эластичные металлические линейки, счёты с костяшками, толстые книги, разграфлённые розовыми и голубыми линиями, и множество прочей канцелярской утвари. Счетовод Тезоименицкий сорвал с календаря вчерашний листок — начался новый день, — и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в бутерброд с красной икрой, которая во Владивостоке стоила дешевле масла и считалась едой бедняков.

У окна, выходявшего на бухту, шёл разговор. Говорили о демонстрации.

— Видели? — возбуждённо спрашивал Лapidус-младший, молодой счетовод с напoмаженным пробором. — Сорok человек! А весной было двадцать. Ещё год — и будет сто.

— Ряженные, — пренебрежительно сказал Сахарков, плотный человек с кошачьими усами. — У нас демократия. Пусть маршируют. В Сибири все маршируют. Эсеры маршируют, областники маршируют, эсдеки маршируют, коммунисты маршируют. Теперь и эти маршируют. Ничего страшно-

го.

— Эсеры не носят повязок, — заметил Дрейфус, тихий пожилой бухгалтер, не отрываясь от книги.

— Эсеры носят галстуки, — сказал Сахарков. — Это хуже.

Все засмеялись. Только Дрейфус не засмеялся. Он перевернул страницу и сказал, ни к кому не обращаясь:

— На плакате у них было «Долой жидовскую думу». Я сидел в думе в двадцать втором году. Секретарём бюджетной комиссии. Я там был один еврей. И ничего, дума как-то справлялась.

Наступила неловкая пауза. Липидус-младший кашлянул и поспешно переменял тему.

— А вы слышали про Берлагу? — сказал он, понизив голос. — самого интересного про Берлагу вы ещё не знаете.

— А что Берлага?

— Берлага в сумасшедшем доме.

— Как в сумасшедшем доме? Он же вчера ещё сидел вот за тем столом. Подсчитывал долги Благовещенского кредитного товарищества.

— Вчера сидел. А сегодня он в психиатрическом отделении Морского госпиталя, — сказал Липидус с торжеством человека, знающего то, чего не знают другие. — Вообразил себя вице-королём Индии. Требуется, чтобы ему подавали чай со слоном.

— Бедняга, — посочувствовал Сахарков. — Довели его

благовещенские долги.

Лапидус-младший тонко улыбнулся.

— В этом весь трюк. Берлага здоров, как бык.

— Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?

— Нет, в сумасшедшем. Но здоров. — Лапидус оглянулся на дверь кабинета начальника отдела и зашептал ещё тише: — Вы же знаете про сокращение. Правление объявило: по смете Михайлова сокращается сорок штатных единиц. В нашем отделе — шесть. Список составят на будущей неделе. А по Уставу о найме служащих, параграф сорок второй, нельзя уволить служащего во время болезни. Ни одного дня. Пока болен — неприкосновенен. Вот Берлага и заболел. Вообразил себя вице-королём Индии и будет вице-королём, пока не пройдёт сокращение. А потом выздоровеет и вернётся на службу. Вот ловкач! Даже завидно.

— А если врачи разберутся?

— Пусть разбираются. Параграф сорок второй не требует, чтобы болезнь была настоящая. Он требует, чтобы был больничный лист. А больничный лист у Берлаги есть, с печатью Морского госпиталя. Попробуйте его уволить. Он подаст в суд, и суд его восстановит, а вас обяжут выплатить ему жалованье за всё время, пока он был вице-королём.

Служащие помолчали, обдумывая эту комбинацию. Сибирский Устав о найме служащих, принятый думой в двадцать первом году по настоянию социал-демократов, был, вероятно, лучшим законом о труде во всей Азии. Он за-

щищал служащего от произвола начальства, от внезапного увольнения, от сверхурочной работы без оплаты и от болезни без пособия. Он был составлен с любовью и с заботой о человеке. Но, как всякий хороший закон, он имел одно свойство, которого не предвидели его составители: защищая честных служащих, он с той же тщательностью защищал и Берлагу.

— Надо только удивляться, — жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полой пиджака, — надо только удивляться, что мы все ещё не вообразили себя вице-королями. Или Наполеонами. Или Авраамом, — старик засопел, — Исааком...

— И Иаковом? — насмешливо спросил Сахарков.

— Да! И Иаковом! — внезапно завизжал Кукушкинд. — Именно Иаковом! Живёшь в такое нервное время! Вот когда я служил у Кунста и Альберса, тогда не было никаких сокращений! Тридцать лет я служил у Кунста и Альберса! Меня взял на службу сам Адольф Васильевич Даттан, царство ему небесное! И знаете, что он мне сказал? Он сказал: «Кукушкинд, у нас не сокращают. У нас умирают на службе». И я бы умер на службе, если бы не кризис! А теперь я должен ждать, сократят меня или нет, как будто я не бухгалтер, а смета!

— А вас не сократят, Кукушкинд, — успокоил его Сахарков. — Вы же сами говорили, что вам семьдесят два года. По Уставу о найме нельзя сокращать служащих, проработавших более двадцати лет, до выхода на пенсию. А на пенсию вас не

отпустят, потому что пенсионный фонд «АТЛАНТа» вложен в облигации лопнувшего Амурского кредитного товарищества. Так что вы, Кукушкинд, будете служить вечно.

Кукушкинд замолчал и долго смотрел на пастушку под потолком. Мысль о вечной службе, по-видимому, не показалась ему утешительной.

При слове «сокращение» Лapidус-младший снова встрепенулся. Он взял за локоть человека в сандалиях, уже сидевшего за своим столом, и увёл его к окну, к стёклам с видом на бухту.

— А вы, Корейко, не боитесь сокращения?

— Нет, — коротко сказал человек в сандалиях.

— Правильно, — подхватил Лapidус. — Вас-то не сократят. Вы у нас незаменимый. Вы же первым сдали декларацию.

Это было правдой. По новому закону «О декларации имущества лиц, состоящих на службе в учреждениях, распоряжающихся общественными средствами», принятому думой весной после разоблачения нескольких растратчиков в лопнувших кооперативах, каждый служащий «АТЛАНТа» обязан был подать сведения о своём имуществе: недвижимом, движимом, денежном и долговом. Служащие подавали декларации неохотно, медленно, с бесконечными исправлениями. Сахарков забыл указать моторную лодку, потом вспомнил, но указал её как «плавучее средство без мотора», потому что мотор был записан на тещу. Лapidус-младший указал

дачу на Седанке как «сарай для хранения садового инвентаря». Тезоименицкий вообще не подал декларации, сославшись на то, что у него нет имущества, кроме календаря, а календарь является не имуществом, а орудием производства.

Человек в сандалиях подал декларацию первым, в день объявления закона, на полстранице, без единой пометки:

«Недвижимого имущества не имею. Движимое имущество: кровать железная — 1, табуретка — 1, стол кухонный — 1, чайник эмалированный — 1, костюм летний — 1, костюм зимний — 1, сандалии — 1 пара, сапоги — 1 пара, гири чугунные — 2 (для занятий физкультурой). Денежные средства: облигации Сибирского выигрышного займа индустриализации номиналом 46 рублей. Долгов не имею».

Комиссия по проверке деклараций, состоявшая из трёх ревизоров губернской управы, прочитала эту декларацию вслух на заседании и поставила её в пример всему «АТЛАН-Ту». Один из ревизоров даже предложил наградить Корейко почётной грамотой «За образцовую финансовую дисциплину», но председатель комиссии сказал, что грамота не предусмотрена законом, и вопрос сняли.

7.

Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих «АТЛАНТа», был человек в последнем приступе молодости — ему было тридцать восемь лет. На красном сургучном лице сидели жёлтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щёки и шею. На службе Александр Иванович вёл себя как сверхсрочный солдат: не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат.

— Робкий он какой-то, — говорил о нём начальник финансово-счётного отдела, — какой-то уж слишком приниженный. Преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку на заём индустриализации, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А весь оклад-то — сорок шесть рублей. Я ему говорю: «Корейко, вы бы хоть половину оставили, на жизнь». А он говорит: «Республике нужнее». И смотрит на меня, как телёнок. Ей-богу, как телёнок.

Начальник отдела был человек добрый и сентиментальный. Он не понимал, почему от этого телячьего взгляда ему каждый раз становилось немного не по себе.

Корейко сел за свой стол, утвердил загорелые локти на

столешице, раскрыл толстую контокоррентную книгу и принялся вносить записи. Он вносил долги маслоартели «Свободная Уссурийская», которая лопнула в декабре, оставив после себя долг американскому банку в сорок тысяч долларов, долг Сибирскому госбанку в двадцать тысяч рублей, долг уездному земству в восемь тысяч и паи двухсот сорока шести пайщиков на общую сумму в двенадцать тысяч, до которых, как всегда, очередь не дойдёт. Он вносил эти цифры аккуратно, красивым конторским почерком, ровно, без помарок, и лицо его при этом было спокойно и пусто, как лицо человека, переписывающего преysкурant.

Над ним, на потолке бывшего ресторана «Версаль», французская пастушка кормила барашка и улыбалась. А за окном, в Золотом Роге, ослепительно-белый японский пароход «Хокуё-мару» грузил приморский лес и приморскую рыбу. И рядом с ним, у дальнего пирса, стоял без котла серый эсминец «Бодрый», или «Решительный», — с берега их было не различить.

Никто в финансово-счётном зале «АТЛАНТа» не знал, что маслоартель «Свободная Уссурийская» лопнула не сама.



Глава V. Подземное царство

1.

Ещё в гимназии Саша Корейко мечтал о богатстве.

Он родился в Иркутске, в девяносто втором году, в семье мелкого чиновника золотосплавочной лаборатории. Отец его тридцать лет взвешивал чужое золото, привозимое с ленских и бодайбинских приисков, и за тридцать лет не взял себе ни крупинки. Это было единственное, за что сын его презирал.

Иркутск того времени был городом золота. Золото лежало повсюду, но не в руках. Оно проходило через город, как вода через решето: с приисков в лабораторию, из лаборатории в банк, из банка в Петербург. По Большой улице, мимо гимназии, ездили на рысках золотопромышленники в енотовых шубах, и каждый из них, как говорили в городе, мог купить всю гимназию вместе с учителями и сторожем. Саша провожал рыскаков глазами и думал не о том, как стать золотопромышленником. Для этого надо было ехать на прииски, жить в тайге, кормить гнус и иметь дело с рабочими. Саша думал о том, как получить золото, никуда не уезжая.

Представлял он себе будущее так. Он идёт по Большой улице и вдруг у водосточного желоба, под самой стеной, на-

ходит кожаный бумажник, вишнёвый, скрипящий, как седло. В бумажнике очень много денег — две тысячи пятьсот рублей. А дальше всё будет чрезвычайно хорошо.

Он так часто представлял себе эту находку, что точно знал, где она произойдёт. На углу Большой и Амурской, в каменном углу, образованном выступом дома, у водосточного желоба, украшенного цинковыми звёздами. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный тополиным пухом, рядом со сплюснутым окурком. На этот угол Саша ходил каждый день по дороге из гимназии. Но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеклом и тупо смотрел на эмалированную дощечку у парадного хода: «Податной инспекторъ К. Г. Пестеревъ».

И Саша ошалело брёл домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые.

2.

Революция согнала Корейко с плюшевого дивана.

В Иркутске её почти не заметили: телеграмма пришла, губернатора арестовали, губернатор попросил разрешения доиграть партию в преферанс, разрешение дали. Но в восемнадцатом году, весной, когда через город на восток пошли первые чешские эшелоны, а с запада стали приходить слухи о советах, расстрелах и реквизициях, иркутские золотопромышленники дрогнули. Они не стали дожидаться, кто победит, и поехали в Харбин, увозя с собой то, что могли увезти, и оставляя то, что увезти было нельзя: дома, мебель, картины, рояли и винные погреба.

Корейко понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почувал, что по всему городу валяется сейчас великое множество беспризорного добра. Надо только не упустить минуты.

Но тогда он был ещё глуп и молод. Он занял большой особняк на набережной Ангары, владелец которого, золотопромышленник Второв-младший, благоразумно уехал в Харбин, и открыто в нём зажил. Целую неделю он вращался в чужой богатый быт, пил найденную в погребе мадеру, закусывая её омулем, таскал на толкучку бронзовые безделушки и был немало удивлён, когда за ним пришли. Пришла новая земская милиция, только что учреждённая областной думой,

— два студента с повязками и бывший городской без повязки. Студенты держали в руках постановление о защите частной собственности, а бывший городской — Сашу за воротник.

Он просидел пять месяцев. Дело его тянулось, потому что новая власть была ещё неопытна и не знала, по какому закону его судить: по старому уголовному уложению, которое уже отменили, или по новому, которое ещё не написали. А в январе девятнадцатого года, по случаю открытия в Томске Сибирского Учредительного собрания, была объявлена всеобщая амнистия. Амнистированы были все, у кого не было крови на руках. У Корейко на руках была только мадера.

Так демократия начала своё существование с того, что выпустила на волю Александра Ивановича Корейко. Впоследствии она могла бы не раз об этом пожалеть, если бы знала, что он вытворяет.

От мысли своей сделаться богачом он не отказался. Но понял, что дело его требует скрытности, темноты и постепенности.

3.

Девятнадцатый и двадцатый годы были в Сибири годами странными. Большой войны не было: перемирие с Москвой держалось. Но всё, сделанное руками человеческими, служило хуже, чем раньше. Через Сибирь шли на восток эшелоны чехов, беженцев, пленных, раненых. На станциях лежали тифозные. Деньги печатали все, кто имел типографию. Омское казначейство, не успевая выпускать новые билеты, отдало заказ типографии, где до революции печатали цирковые афиши, и рубли первого выпуска выходили из неё с остатками краски от прежнего тиража: на некоторых сквозь двуглавого орла проступал дрессированный медведь на велосипеде. Были «керенки», которые считали на вес. Были «ермаковки» с портретом Ермака, похожего на податного инспектора. Молодые люди без определённых занятий кучками бродили по улицам и пели песенку о деньгах, потерявших цену:

Залетаю я в буфет — Ни копейки денег нет. Разменяйте, братцы, ермаковку!

Тиф валил людей тысячами, и Саша торговал медикаментами, украденными со склада Красного Креста. Он заработал на тифе пятьсот тысяч, но курс за месяц превратил их в пять тысяч. На сахаре он заработал миллион. Курс превратил этот миллион в порошок, который можно было высыпать из кармана.

Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел была история с хлебным поездом.

В двадцать первом году в Поволжье начался голод. Сибирская республика, у которой хлеба было много, а друзей мало, заключила с Москвой торговый договор: хлеб в обмен на золото. Договор этот впоследствии называли первым актом сибирской дипломатии, который понравился обеим сторонам. Из Омска на запад пошли маршрутные поезда с зерном. Корейко, к тому времени служивший по снабжению в Омском губернском продовольственном комитете, был назначен комендантом одного из них.

Поезд вышел из Омска на Челябинск. До Челябинской таможни он не дошёл. В Омск он тоже не вернулся. Он бесследно исчез где-то между Петропавловском и Курганом, вместе с тридцатью двумя вагонами пшеницы, паровозом, кочегаром и комендантом.

Месяц спустя советский наркоминдел прислал в Томск ноту, в которой сообщал, что Сибирская республика не выполнила обязательств по договору и поезд номер сорок семь на станцию Челябинск не прибыл. Министр иностранных дел Дербер ответил нотой, в которой сообщал, что поезд номер сорок семь был отправлен в установленный срок и, следовательно, потерян советской стороной. Москва ответила

второй нотой. Томск — второй. Полгода два правительства обменивались нотами о поезде, который не существовал ни на одной из их территорий. Нот было одиннадцать. Последнюю, двенадцатую, Москва не отправила, потому что голод к тому времени кончился и спорить стало не о чем.

Хлеба в Поволжье так и не получили. Это был единственный эпизод в биографии Александра Ивановича, о котором он, подсчитывая свои капиталы, иногда вспоминал с чем-то похожим на неловкость. Впрочем, неловкость быстро проходила.

Вместе с поездом пропал и Александр Иванович Корейко. Вместо него появился некто Бартоломеев, уполномоченный по заготовкам, с документами в полном порядке.

4.

Оранжевые сапоги вынырнули в Новониколаевске в конце двадцать второго года.

Над сапогами царила зеленоватая бекеша на лисьем меху. Поднятый барашковый воротник защищал от мороза молодёжную физиономию с бакенбардами. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха.

А в Новониколаевске в ту пору уже происходили важные события.

В двадцать первом году министр финансов Михайлов привёз из Нью-Йорка американский заём, и Сибирская республика выпустила твёрдый рубль. Новые банкноты печатали не в цирковой типографии, а в Америке, на бумаге с водяными знаками. На них был изображён Томский университет, и было видно каждое окно. Рубль обменивался на золото по паритету и через полгода стал самой твёрдой валютой от Урала до Тихого океана. Люди, привыкшие к «ермаковкам», долго не верили, носили новые рубли в банк проверять, не облезут ли. Рубли не облезали. Деньги снова стали деньгами.

Новониколаевск, город, выросший у моста через Обь из пустыря за двадцать пять лет, строился с американской скоростью. По Николаевскому проспекту уже бегали «Форды» с хрустальными фонарями. Двигались по улицам скоробогачи в каракулевых шапках. Входили в моду остроносые штиб-

леты и портфели с чемоданными ремнями. Какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чём заключается радость жизни, уже танцевали в ресторане «Метрополь» уанстэп и фокстрот.

Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в Омске признаком мужественности и богатства, здесь, в Новониколаевске, является пережитком гражданской войны и бросает невыгодную тень на самого его обладателя.

Через два месяца на Николаевском проспекте открылось новое заведение под вывеской:

«ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАТИВНАЯ АРТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ „САМООПРЕДЕЛЕНИЕ“».

Артель располагала двумя комнатами. В первой висел портрет Потанина, отца сибирского самоопределения, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме с красной шёлковой ниткой. Исчезли оранжевые сапоги и молодецкие бакенбарды. Щёки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стёклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхней бочки в нижнюю, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал вед-

ром жидкость из нижней бочки, тащил её на антресоль и вливал в верхнюю. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова несло всхлипывание.

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химические продукты вырабатывает артель «Самоопределение». Ему было не до химии. Его рабочий день и без того был уплотнён.

Дело в том, что кооперация была в Сибири святыней.

Сибирская республика выросла из кооперации, как дерево из корня. Кооператоры сидели в думе и в министерствах. Кооперация кормила страну маслом и поила хлебом. Закон о поддержке кооперативных товариществ, принятый в двадцатом году, давал артелям льготный кредит Сибирского кооперативного банка, сырьё по твёрдым ценам через Закупсбыт и освобождение от промыслового налога на пять лет. Никому в Сибири не приходило в голову проверять артель. Проверять артель было всё равно что проверять церковь на предмет наличия Бога.

Корейко переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах на расширение производства. В Закупсбыте он получал по твёрдой цене кислоты, соли, щёлочи и спирт. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на частные заводы по удешевлённой цене, и поглощали множество энергии валютные дела у подножия памятника Ермаку.

По прошествии года Сибирский кооперативный банк

возымел желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии артели «Самоопределение» оказанная ей финансовая помощь. Ревизионная комиссия, увешанная учёными бородами, прибыла на Николаевский проспект на трёх извозчиках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в лицо Потанина и долго стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей артели. Наконец дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром.

Из разговора с юным представителем «Самоопределения» выяснилось, что производство находится на полном ходу, а хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной трубке, по вкусу, цвету и химическому составу напоминала обыкновенную обскую воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:

— А кой тебе годик?

— Двенадцатый миновал, — ответил мальчик.

И залился такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и уехали в полном смущении. Что же касается артели «Самоопределение», то все её операции были занесены в книги Сибирского кооперативного банка на счёт прибылей и убытков, и именно в тот раздел этого счёта,

который ни словом не упоминает о прибылях.

5.

В тот самый день, когда ревизионная комиссия беседовала с мальчиком в конторе «Самоопределения», Александр Иванович Корейко высадился из почтовой лодки на пристани города Кызыла, столицы Тувинской Народной Республики, отстоявшей от Новониколаевска на полторы тысячи вёрст.

Тувинская Народная Республика была государством совершенно независимым. У неё был свой флаг, свой хурал, своё правительство из девяти министров, своя армия в четырёста сабель и своя валюта, которую никто, кроме самих тувинцев, не принимал. Каждую весну правительство в полном составе ездило в Омск просить у Сибирского государственного банка денег, а Сибирский государственный банк каждую весну давал, поскольку за Тувой начиналась Монголия, а за Монголией — Китай, и было важно, чтобы между Сибирью и Китаем стоял кто-нибудь благодарный.

Корейко растворил окно в единственной кызыльской гостинице и увидел городок у слияния двух Енисеев, с деревянными домами, юртами на окраине, белым ламаистским монастырём на холме и синими горами со всех сторон. На другой же день он узнал, что республика строит электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и стройка, от которой зависит будущее республики,

может остановиться.

И здоровый частник решил помочь республике.

Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тувинскую шапку с кисточкой и, захватив пузатый портфель, двинулся в министерство хозяйства. Его встретили не особенно ласково. Но он вёл себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.

— Вашей стройке не хватает денег, — говорил он министру, человеку с умными глазами и в шёлковом халате. — Я их достану.

И он предложил организовать при строительстве доходное подсобное предприятие.

— Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства по всей Сибири, в Монголии, в Китае, в Америке. Это принесёт средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать. Вы будете только получать.

Министр посовещался с ламами, ламы — с хуралом, хурал — с Сибирским государственным банком по телеграфу. Корейко торговался из-за процентов и, наконец, заручившись договором, по которому он получал четвёртую часть всех прибылей с открыточного предприятия, приступил к делу.

Сперва понадобились оборотные средства. Он получил их из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег

в республике не было.

Через неделю из Иркутска приехали фотографы. Они окружили строительство суставчатыми голенастыми штативами, спрятались под чёрные шали и долго щёлкали объективами. Когда всё было снято, один из фотографов опустил шаль на плечи и рассудительно сказал:

— Лучше, конечно, было бы строить эту станцию немного левее, на фоне монастыря. Там гораздо живописнее.

Так и сделали — то есть перенесли на открытках. На всех открытках станция стояла на фоне белого монастыря, хотя на самом деле стояла на фоне пустыря. Открытки печатали в Иркутске в четыре краски, на меловой бумаге, тиражом в двести тысяч экземпляров. Затем Корейко нашёл, что для привлечения туристов необходимо издать альбом. Затем — что альбом необходимо перевести на английский язык. Затем — что для распространения открыток в Америке необходим представитель в Сан-Франциско, а представитель должен иметь контору, а контора — телефон.

Через полгода на строительстве электростанции кончились деньги. Двести тысяч открыток лежали на складе в Иркутске. Их не купил никто. В Америке не знали, где Тува. В Сибири знали, но открыток не покупали: зачем покупать открытку с электростанцией, которая светит только на открытке? Строительство остановилось. Министр в шёлковом халате снова поехал в Омск просить денег. А четверть прибылей Александра Ивановича составила ноль рублей ноль копеек,

что, впрочем, его нисколько не огорчило, потому что к этому времени все оборотные средства предприятия, включая деньги на представителя в Сан-Франциско, уже были у него.

Электростанция в Кызыле была достроена только в двадцать восьмом году на новый кредит Сибирского государственного банка. Открытки к тому времени успели устареть: монастырь на них был, а станции так и не было.

6.

Из этих и подобных этим комбинаций Александр Иванович вышел к середине двадцатых годов человеком, постигшим все тайны подземной коммерции. У него появились волчьи ухватки. Он стал скрытен и зол. Он многому научился.

Но главное, чему он научился, — это то, что открытая жизнь для него невозможна.

Это может показаться странным. Ведь Сибирская республика, в отличие от Совдепии за Челябинской таможней, во все не запрещала богатеть. В Сибири можно было иметь фабрику, мельницу, пароход, прииск, магазин, банк. В Сибири были свои миллионеры, и их адреса печатались в «Справочнике сибирского делового мира».

Миллионеры эти не были ангелами с крыльями.

Мукомол Привалов во время гражданской войны поставлял муку и чехам, и белым, и красным партизанам, причём всем по одной и той же цене и одинакового качества, а качество было скверное. Золотопромышленник Громов, хозяин приисков на Угрюм-реке, держал на них рабочих в бараках, о которых томские газеты писали по три фельетона в год. Винокур Ляховский, когда дума ввела налог на водку, перерегистрировал свой завод как «кооперативное товарищество трезвости» и три года не платил ни копейки. Бахарев выгнал

из своих номеров на улицу два десятка семей беженцев, когда ему предложили за помещение больше. Все они, как известно, перекрасились после революции в «кооператоров», а заправляли делами по-прежнему, по-купчески, с той же хваткой и той же жадностью.

Но когда наступил трудный час, они поступили иначе, чем можно было ожидать.

В двадцать первом году, когда Михайлов выпускал твёрдый рубль, нужен был золотой запас. Американского займа не хватало. И тогда Громов приехал в Сибирский государственный банк и сдал в обмен на новые банкноты двадцать восемь пудов золота со своих приисков — всё, что у него было. Он мог увезти это золото в Харбин, в Шанхай, в Сан-Франциско, куда угодно. Ему предлагали. Он не увёз. «Если рубль лопнет, — сказал он, — то и я лопну вместе с ним. Так хоть будет за что лопнуть».

В двадцать пятом году, когда правительство социалистов объявило план индустриализации и выпустило первый заём, сибирские капиталисты смеялись над социалистами в клубах, рисовали на них карикатуры в «Бурундуке», называли план «маслобойным коммунизмом». А потом пошли и подписались. Привалов взял займа на двести тысяч. Ляховский вложил деньги в Кузнецкий комбинат. Бахарев купил акции томского электромеханического завода, хотя, по слухам, так и не понял, что этот завод производит. Они ругали социалистов и ругали их план, но поверили, что этот план, может

быть, сделает Сибирь богатой и сильной, а значит, и их вместе с ней.

Осенью двадцать девятого года эта вера стоила им дорого. Масло упало, хлеб упал, акции упали. Привалов продавал мельницы. Громов закладывал прииски. Бахарев закрыл свои номера и сам жил в одной комнате при конторе. Они проиграли в кризис, потому что поверили.

Корейко не поверил ни во что. И выиграл.

Он не купил ни одной облигации, кроме тех сорока шести рублей, которые для виду ежемесячно подписывал в «АТ-ЛАНТе». Он не вложил ни копейки ни в один завод. Он не держал денег ни в одном сибирском банке. Всё, что он зарабатывал, он держал в чемоданишке: американскими долларами, японскими иенами, английскими фунтами и золотыми десятками царской чеканки. Сибирских рублей с Томским университетом в чемоданишке не было ни одного.

И не только поэтому открытая жизнь была для него невозможна.

Сибирская республика была государством правовым. В правовом государстве у каждого рубля должна быть родословная, как у породистой собаки. Если Александр Иванович захотел бы купить дом, нотариус спросил бы его, на какие средства. Если бы он положил деньги в банк, банк сообщил бы о вкладе в податное управление. Податное управление прислало бы инспектора. Инспектор спросил бы, где служит владелец вклада и сколько получает. И если бы выяс-

нилось, что владелец вклада служит конторщиком «АТЛАН-Та» на сорока шести рублях, а вклад составляет несколько миллионов, — инспектор не стал бы кричать, топтать ногами и тащить его в подвал. Нет, он вежливо попросил бы представить объяснения в письменном виде, в трёх экземплярах, в двухнедельный срок. А объяснения Александр Иванович представить не мог. Потому что за каждой его тысячей тянулась ниточка, и все ниточки вели к старым делам: к артели с бочками, к тувинским открыткам, к хлебному поезду номер сорок семь. А дело о поезде, похищенном в мирное время из груза, предназначенного голодающим, согласно Уголовному уложению Сибирской республики, давности не имело.

Поэтому Корейко понял, что сейчас возможна только подземная коммерция, основанная на строжайшей тайне.

7.

Все кризисы, которые трясли молодую республику, шли ему на пользу. Всё, на чём республика теряла, приносило ему доход.

В годы масляного бума, когда масло шло в Лондон по восемнадцать шиллингов, когда председатели маслоартелей катались по ночам на озёра, а газеты писали, что масло будет дорожать вечно, Александр Иванович через подставных лиц в Харбине и Шанхае продавал вперёд масло, которого у него не было. Он продавал его на срок, по нынешней цене, с поставкой через год. Все считали это безумием: масло же дорожает. Подставные лица крутили пальцем у виска, но исправно выполняли поручения, потому что получали комиссию и не знали, на кого работают.

А чтобы иметь, чем поставлять, он скупал через тех же подставных лиц будущий урожай масла у небольших, неопытных артелей — у той же «Свободной Уссурийской», — заключая с ними долгосрочные контракты по твёрдой цене. Председатели артелей радовались: твёрдая цена! гарантированный сбыт! Им не приходило в голову, что твёрдая цена может однажды оказаться выше рыночной.

Осенью двадцать девятого года масло упало вдвое. Александр Иванович выиграл на каждом проценте падения. Его харбинские покупатели должны были платить ему по старой

цене. А его артели должны были поставлять ему по контрактам и разорялись, потому что поставлять было себе в убыток, а не поставлять — значило платить неустойку. «Свободная Уссурийская» продержалась до декабря.

В разных концах Сибири на Корейко работали большие и малые пройдохи — маклеры в Харбине, комиссионеры во Владивостоке, поверенные в Иркутске, — но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь он сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги.

Потом, когда кризис начался всерьёз, Александр Иванович поступил на службу в «АТЛАНТ».

Это был самый остроумный его ход. Из-за своего стола под пастушкой Ватто, переписывая долги лопнувших артелей в контокоррентную книгу, он видел то, чего не видел никто за стенами агентства: какие требования к артелям будут оплачены и когда, а какие не будут никогда. Американские банки, Сибирский госбанк и земства получали своё в первую очередь. Поставщики — в четвёртую, и то не все и не скоро. Поставщики — мелкие торговцы, бондари, жестянщики, возчики, продававшие артелям бочки, бидоны и извоз в долг, — не знали, когда до них дойдёт очередь и дойдёт ли вообще. Они ходили по коридорам «АТЛАНТа», заглядывали в двери, спрашивали у курьеров и уходили ни с чем. И тут к ним подходил вежливый человек с портфелем — не Корейко, конечно, а один из его людей — и предлагал купить

их требование. Сейчас же, наличными. По десять копеек за рубль. Бондарь, у которого дома было пятеро детей и не было денег на хлеб, соглашался. А через месяц агентство, согласно установленной законом очереди, платило по этому требованию полный рубль. Корейко знал, какому требованию через месяц подойдёт очередь, потому что сам вносил его в книгу.

Так Александр Иванович выиграл сначала на крахе, а потом на ликвидации краха.

Обладатель десяти миллионов долларов ходил на службу пешком, в сандалиях, и обедал репкой.

8.

Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя перед собой, съел её. Потом проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная, и хороший весёлый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.

Все служащие «АТЛАНТа» увенчивали свой завтрак чаем. Александр Иванович выпил стакан белого кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.

Обладатель десяти миллионов походил на боксёра, расчётливо подготавливающего свой триумф. Боксёр подчиняется специальному режиму, не пьёт и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать — всё для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем.

Александр Иванович тоже ждал своего дня.

В этот день не будет нотариусов, податных инспекторов, деклараций, ревизионных комиссий и Уголовного уложения в двенадцати томах. В этот день кончится Сибирская рес-

публика с её думой, тремя неразличимыми партиями, ста законами о защите граждан и одним эсминцем в строю. Он не знал, кто её кончит. Может быть, японцы, чей белый пароход так хорошо был виден из окна. Может быть, Москва, о которой газеты писали, что она строит заводы и танки. Может быть, эти молодые люди в чёрных рубашках, которых весной было двадцать, а теперь сорок два. Ему было всё равно. Он видел в восемнадцатом году, как власть менялась за неделю. Он видел в девятнадцатом, как деньги печатали в цирковой типографии. Он не верил, что люди, которые сверяют маршрут фашистского шествия по копии разрешения, продержатся долго. И когда они не продержатся, когда закон кончится и начнётся время, в котором у рубля не спрашивают родословной, — тогда Александр Иванович выйдет из подполья, безбоязненно раскроет свой обыкновенный чемоданишко и заживёт.

В том, что этот день придёт, Корейко никогда не сомневался. Он берёт себя для конца закона.

И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вёл нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублёвого жалованья, которое получал за жалкую и нудную работу в финансово-счётном отделе, расписанном пастушками Ватто.



Глава VI. Автопробегом — по кризису и бездорожью

1.

Зелёный ящик с четырьмя жуликами и одним гусем скачками понёсся по Барабинскому тракту.

Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Её внезапно сбивало налетевшим ухабом, втягивало в колеи, бросало со стороны на сторону и обдавало чёрной барабинской пылью, которая в сухую погоду поднимается с тракта облаком, а в мокрую ложится на него слоем грязи по ступицу. Сейчас стояла сухая погода. Позади машины облако поднималось до неба.

По сторонам лежала Бараба. Она была плоская, как стол, на котором разложили карту, и такая же бесконечная. Между берёзовыми колками блестели озёра, большие и маленькие, круглые и продолговатые, и каждое отражало небо так точно, что казалось, будто в степи наделали дыр и сквозь них видно небо с другой стороны земли. Над озёрами летали утки. Над утками — коршуны. Над коршунами не было никого.

— Послушайте, студент, — обратился Остап к новому

пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел на заднем сиденье, прижимая к груди гуся. — Как же вы посмели нарушить Ермаковскую конвенцию, этот почтенный пакт, скреплённый донышком пивной кружки под чучелом медведя?

Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону, к озеру.

— И вообще, — продолжал Остап, — у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены: за вами гнались каинские торговки, у которых вы увели гуся. Причём гуся не простого, а медалиста уездной выставки. Вы понимаете, что вы сделали? Вы покусились на гордость барабинского птицеводства в самый тяжёлый для него час!

— Жалкие, ничтожные люди, — сердито забормотал Паниковский.

— Вот как? — сказал Остап. — А себя вы считаете, очевидно, деятелем сибирского освобождения? Джентльменом? Тогда вот что: если вам, как истому джентльмену, взбрёт на мысль делать записи на манжетах, вам придётся писать мелом.

— Почему? — раздражённо спросил новый пассажир.

— Потому что манжеты у вас совершенно чёрные. Не от грязи ли?

Паниковский посмотрел на свои манжеты. Они действительно были чёрные, и не только от грязи, но и от давнего знакомства с полицейскими участками трёх губерний.

— Вы жалкий, ничтожный человек! — быстро заявил он.

— И это вы говорите мне, своему спасителю? — кротко спросил Остап. — Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.

Балаганов не понял, что означает «статус-кво». Но ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на обочину, в серебристую полынь. Гусь, оставшийся на сиденье без хозяина, вопросительно посмотрел на Остапа.

— Студент, идите обратно в Каинск, — сухо сказал Остап. — Там вас с нетерпением ожидают торговки и земский милиционер с протоколом. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.

— Я больше не буду! — взмолился Паниковский. — Я нервный! У меня в Каинске дело заведено! Меня там посадят!

— Станьте на колени, — сказал Остап.

Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги. Полынь вокруг него поднялась горьким облачком.

— Хорошо, — сказал Остап. — Ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за всё. Козлевич, позвольте представить вам нашего нового члена

экипажа. Михаил Самуэлевич Паниковский. Сын Потанина. Внебрачный даже по отношению к остальным внебрачным.

— Очень приятно, — вежливо сказал Козлевич и пригляделся к Паниковскому повнимательнее. — Вы, кажется, тоже из ссыльных поляков?

— Из ссыльных, — уклончиво сказал Паниковский, забираясь в машину. — Мой дедушка был сослан в Сибирь при Николае Первом.

— За восстание?

— За восстание, — подтвердил Паниковский. И, подумав, добавил: — Против полицмейстера города Бердичева. Он у полицмейстера увёл лошадь.

Козлевич промолчал. Он был католик и человек деликатный. Но с этой минуты он смотрел на Паниковского так, как смотрит органист на человека, который поёт в костёле фальшиво.

2.

Через версту Остап снова велел остановиться.

— Гусь, — сказал он, указывая на птицу, которая к этому времени устроилась на заднем сиденье, как пассажир первого класса, и смотрела на степь с выражением усталого достоинства. — С гусём надо решать.

— Гуся мы съедим, — обрадовался Паниковский. — Я его поймал. Я знаю, как его жарить. Надо развести костёр, обмазать гуся глиной...

— Гуся мы не съедим, — твёрдо сказал Остап. — Мы не мародёры. Мы головная машина пробега. Головная машина не может везти краденого гуся. Это скомпрометирует идею автомобилизма в глазах сельского населения. Шура, выпустите птицу.

Балаганов вынес гуся из машины и бережно поставил на дорогу. Гусь недовольно встряхнулся, почесался клювом под крылом и, как ни в чём не бывало, пошёл по тракту обратно, на запад, в сторону Каинска, высоко держа голову. Медалист уездной выставки возвращался домой сам, без протокола и без конвоя.

Паниковский смотрел ему вслед с такой тоской, с какой смотрят вслед уходящему поезду, на который не успели.

— Гусь! — прошептал он. — Ножка! Шейка!.. Жалкие, ничтожные люди!

— Ничего, — утешил его Остап. — Зато мы сохранили моральный облик пробега. Это дороже гуся. Это даже дороже медали.

И Сайгак-ага, кашлянув сайгачьим клаксоном, покати́л дальше на восток.

3.

Ночевали в степи, на берегу озера, у берёзового колка.

Козлевич развёл костёр из сухого коровьего помёта, которого в Барабе больше, чем дров, и поставил на огонь за-копчённый чайник. Балаганов натаскал воды. Паниковский ничего не делал и жаловался, что его кусают комары. Комары действительно кусали, но кусали всех одинаково, поэтому жалобы Паниковского оставались без ответа.

Остап сидел у костра на подножке Сайгака-аги и думал.

— Плохо дело, — сказал он наконец. — У головной машины нет ни одного лозунга. Головная машина без лозунга — это то же самое, что председатель управы без портрета Потанина. Её не узнают. Её не встретят. Ей не дадут бензина. Нужен плакат. Нужна краска. Нужна материя.

— Краска есть, — неожиданно сказал Козлевич. — Я ей «Эх, залётная!» писал. Осталась полбанки. И кисть.

— Козлевич, вы сокровище, — сказал Остап. — А материя?

Козлевич подумал, потом молча встал, открыл заднюю дверцу машины и поднял сиденье. Под сиденьем оказалось углубление, а в углублении — плоский деревянный ящик, обитый жёстью, с полустёртой трафаретной надписью: «Mission militaire française en Sibérie. Section de liaison».

— Это от французов осталось, — пояснил Козлевич. — Я

его в ауле нашёл, под сиденьем. Не выбросил. Жалко было. Вещь казённая.

Остап присел на корточки перед ящиком с благоговением археолога, нашедшего гробницу фараона.

Ящик был набит сокровищами одиннадцатилетней давности. Сверху лежала трёхцветная нарукавная повязка с золотыми буквами «Liaison». Под ней — синее офицерское кепи с потускневшим галуном. Под кепи — жестяной мегафон, помятый с одного бока. Под мегафоном — складной флажок на латунной палке, сине-бело-красный. Под флажком — пачка бланков с шапкой «Mission militaire française» и печатью, на которой ещё можно было различить петуха. Под бланками — брошюра «Инструкция по встрече и сопровождению союзных делегаций на территории Сибири», на французском и на русском языках, с подробными указаниями, сколько раз надо поднимать бокал за президента Пуанкаре и как отвечать на приветствие казачьего атамана. И на самом дне — свёрнутая в рулон простыня. Простыня была грубая, полотняная, аульная, с вышитым по углу красным орнаментом.

— Это не французская, — сказал Козлевич. — Это мне аксакал Байжан дал. На дорогу. Сказал: «В пути всегда пригодится простыня. Можно спать, можно перевязать рану, можно завернуть покойника». Я её не трогал.

— Аксакал Байжан, — сказал Остап с чувством, — был мудрый человек. Он не перечислил только одно применение

простыни. Самое главное.

Он расстелил простыню на траве у костра, открыл банку с краской, обмакнул кисть и вывел крупными печатными буквами, стараясь не капать на вышитый орнамент:

АВТОПРОБЕГОМ — ПО КРИЗИСУ И БЕЗДОРОЖЬЮ!

Плакат укрепили над машиной на двух берёзовых жердях, вырубленных в колке. Утром, как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрёл настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по кризису, бездорожью, а заодно, может быть, даже и по Уолл-стрит. Пассажиры Сайгака-аги приосанились. Балаганов натянул на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл её озёрной водой, и на неровных зелёных боках Сайгака-аги заиграло солнце. Сам командор надел французскую повязку «Liaison» поверх рукава травяного пиджака, а кепи положил рядом, на сиденье, на всякий случай.

— Что это значит — «Лиэзон»? — спросил Балаганов, разглядывая повязку.

— Связь, — ответил Остап. — Это значит, Шура, что я — связь. Связь между автомобилизмом и народом. Между Америкой и Сибирью. Между процветанием и тем углом, за

которым оно находится. Кто-то должен держать эту связь. Пусть это буду я.

— Влево по носу — деревня! — крикнул Балаганов, полочкой приставляя ладонь ко лбу. — Останавливаться будем?

— Позади нас, — сказал Остап, — идут сорок первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в селе Убинском. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович!

— На приветствия отвечать? — озабоченно спросил Балаганов.

— Отвечать поклонами и улыбками. Ртов попрошу не открывать. Не то вы чёрт знает что наговорите. Особенно вы, Паниковский. Если вы скажете кому-нибудь «жалкий, ничтожный человек», я восстановлю статус-кво уже окончательно.

4.

Деревня встретила головную машину приветливо. Но гостеприимство носило довольно странный характер.

Видимо, сельский сход известие о том, что кто-то проедет, получил по телеграфу из волости. Но кто проедет и с какой целью, волость толком не объяснила, потому что в волости тоже не знали: циркуляр министерства торговли и промышленности пришёл в волость с опозданием, а газету «Сибирская жизнь» в волость возили раз в неделю. Поэтому на всякий случай были извлечены из сельского сарая все плакаты, изготовленные за последние одиннадцать лет.

Вдоль главной улицы, от околицы до церкви, стояли жители. Над ними, на заборах, на воротах, на стене сельской школы и на шестах, вкопанных прямо в землю, висели лозунги. Они висели вперемешку, не разбирая эпох, как висят на стене фотографии в доме, где давно не было ремонта.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СИБИРСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ!» — гласило полотнище на школе, вылинявшее от одиннадцати зим до цвета топлёного молока.

«ЕДИНСТВО И ПРОЦВЕТАНИЕ!» — сообщал щит на воротах маслоартели, наглухо заколоченных крест-накрест досками.

«ТРУДОВАЯ СИБИРЬ — БОГАТАЯ СИБИРЬ!» — висело над лавкой потребобщества, у дверей которой стояла оче-

редь за солью.

«ПОКУПАЙ СИБИРСКОЕ!» — призывал совсем свежий плакат на заборе, и под ним кто-то углём приписал: «На что?»

«ПРИВЕТ АМЕРИКАНСКИМ ДРУЗЬЯМ!» — это было написано, по-видимому, только вчера. В слове «американским» вместо буквы «и» сначала стояла буква «е», потом её зачеркнули и написали «и» сверху. Получилось «амер-е-и-канским», что, впрочем, не мешало чувству.

«БЕРЕГИСЬ КЛЕЩА! КЛЕЩ НЕ РАЗБИРАЕТ ПАРТИЙ. В. КРУТОВСКИЙ».

«ДОЛОЙ ПЬЯНСТВО — ВРАГА КООПЕРАЦИИ!»

И наконец, прибитый к телеграфному столбу на самом углу, у поворота на Убинский тракт, висел аккуратный фанерный щит с надписью: «ПРОЦВЕТАНИЕ — ЗА УГЛОМ!»

Щит прибил сельский писарь. Он был человек образованный, читал газеты и считал, что плакат с таким текстом надо вешать именно на углу, иначе получится обман населения. Под щитом стояла кучка мужиков и курила. Мужики время от времени заглядывали за угол и возвращались, пожимая плечами.

Когда Сайгак-ага, трубя сайгачьим клаксоном, въехал в деревню, по толпе прокатилось «ура», жидкое, но искреннее. Мальчишки побежали рядом с машиной. Бабы махали платками. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды, в пиджаке поверх косоворотки, с жестяной бляхой сель-

ского старосты на груди.

— Граждане участники! — закричал он, торопясь, потому что машина не останавливалась. — Позвольте приветствовать... от имени схода...

Он, видимо, заготовил речь, но, заметив, что машина и не думает останавливаться, не стал распространяться.

— Все в Сибирское автомобильное общество! — поспешно сказал он, ласково глядя на поравнявшегося с ним Остапа. — Наладим своё сибирское автомобилестроение!

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая приветственный гул толпы, выложил последний, самый главный лозунг, который вычитал вчера в «Сибирской жизни»:

— Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения!

Мужики под щитом «Процветание — за углом» проводили машину внимательными взглядами. Один из них, старик с седой бородой, спросил у соседа:

— А в ней-то кто? Не Вологодского ли везут?

— Не, — ответил сосед, разглядев пассажиров. — Вологодский старый. А там молодые. Да ещё рыжий.

— Ну, значит, процветание ещё за углом, — заключил старик и затаился.

Жулики были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасно присел на корточки, так что глазам селян представи-

лась только лишь соломенная крыша его канотье. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклоном головы то вправо, то влево, а один раз даже приподнял над головой французское кепи.

— Улучшайте дороги! — закричал он на прощанье. — Мерси за приём!

И машина снова очутилась среди тихих барабинских полей.

— Они за нами не погонятся? — озабоченно спросил Паниковский, поднимаясь с корточек.

— Как? Вы разве успели у них что-нибудь выхватить? — спросил Остап.

— Кроме шуток, — сказал Паниковский. — Что случилось? Почему толпа?

— Почему толпа, — передразнил Балаганов. — Люди никогда не видели автомобиля. Ясное дело!

— Обмен впечатлениями продолжается, — отметил Бендер. — Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофёр подумал, пугнул выбежавшую на дорогу собаку сайгачьим криком клаксона и высказал предположение, что толпа собралась по случаю престольного праздника. Праздники такого рода, разъяснил водитель Сайгака-аги, часто бывают у селян. Он сам, когда увидел толпу, чуть было не снял кепку, но вовремя вспомнил, что церковь православная.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я окончательно вижу, что попал в общество некультурных людей. Я вам вчера читал газету, а вы уже всё забыли. Это была не толпа, господа. Это была репетиция. Генеральная репетиция встречи сорока «Фордов». А мы были первыми зрителями, то есть, простите, первыми исполнителями. В Убинском будет премьера.

5.

Сорок вёрст Сайгак-ага пробежал за два с половиной часа. Последнюю версту Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушённо крутил головой. Но все эти усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста сажен до кафедры, увитой пихтовыми гирляндами в честь отважных автомобилистов.

— Сайгак-ага, пожалуйста, — прошептал Козлевич, нажимая на стартёр.

Сайгак-ага кашлянул и не сдвинулся. Он не мог ехать без бензина, даже из уважения.

Тем не менее собравшиеся загревели «ура» и кинулись навстречу прибывшему из мглы веков «Лорен-Дитриху». Пассажиров грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало надо было вернуть к жизни. Паниковского подбросили так высоко, что с него слетело канотье. Его поймал на лету мальчик и долго не хотел отдавать.

Село Убинское было большое, торговое, со станцией на магистрали, с паровой мельницей, с двумя церквями, с земской больницей и с правлением волости в каменном доме. На площади перед правлением стояла дощатая кафедра, обтя-

нутая кумачом и обвитая пихтой. Над кафедрой висел плакат «ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО АВТОПРОБЕГА!», а под плакатом — портрет американского президента Гувера, вырезанный из «Сибирской жизни» и наклеенный на картон. Рядом, для равновесия, висел портрет президента Вологодского, тоже из газеты, но побольше. Президенты смотрели друг на друга с одинаковым выражением, как будто оба говорили «процветание» и оба ждали, кто первым признается, где оно.

У кафедры стоял пожарный оркестр в медных касках. Оркестр был взят напрокат у пожарной команды, потому что своего оркестра у волости не было. Пожарным за участие в торжестве обещали заплатить облигациями выигрышного займа индустриализации. Пожарные предупредили, что в таком случае будут играть тоже облигациями, то есть вполсилы. И действительно играли вполсилы: громко, но без души.

Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трёхчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шофёрского вида, в кожаных крагах и в очках-консервах, сдвинутых на лоб, и спросил:

— Как остальные машины?

— Отстали, — равнодушно ответил Остап. — Проколы, поломки, энтузиазм населения. Всё это задерживает.

— Вы в командорской машине? — не отставал шофёр-любитель. — Мистер Пибоди из «Стандард Ойл» с вами?

— Мистер Пибоди на головном «Форде», — сказал Остап недовольно.

— А банковский инспектор Клопштейн?

— Клопштейна я снял с пробега.

— А корреспондент «Сибирской жизни»? Персицкий? Вот бы на него посмотреть! Я все его заметки читаю! «Попал под лошадь» — помните? Это ведь он написал!

Остап на секунду дрогнул. Фамилия была ему знакома слишком хорошо.

— Персицкого, — сказал он ледяным голосом, — я тоже снял с пробега. За опровержения.

— А вы на «Форде»?

— Можете считать нашу машину «Фордом», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Сайгак-ага». Вы удовлетворены?

Но шофёр-любитель удовлетворён не был.

— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Сайгаков»! Я читал в газете, что идут сорок «Фордов». Только «Форды»! Сорок «Фордов» и одна машина обслуживания!

— Идите к чёртовой матери со своим «Фордом»! — заорал Остап. — Кто такой Форд? Это ваш родственник, Форд? Папа ваш Форд? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Форд» в последний момент заменён «Сайгаком-агой», а он морочит голову! «Форд»! «Форд»! Сорок «Фордов» ему подавай!

Юношу уже давно оттеснили распорядители в нарукавных повязках, а Остап долго ещё взмахивал руками и бормотал:

— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Форда» ему подавай! Форд у Сибири проценты просит!

Делал он это с той целью, чтобы раз и навсегда избавиться от опасных расспросов. И цели своей достиг. Последняя фраза вызвала в толпе сочувственный гул, и несколько человек посмотрели на шофёра-любителя с осуждением, как на пособника американского банка.

6.

Председатель волостной комиссии по встрече автопробега, пожилой земец в чесучовом пиджаке, развернул бумагу и начал приветственную речь.

Он протянул в ней такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Каждое придаточное предложение начиналось со слов «принимая во внимание», «руководствуясь циркуляром министерства торговли и промышленности от такого-то числа за таким-то номером» или «в соответствии с постановлением волостного земского собрания». Председатель был человек добросовестный и считал, что приветствие, не подкреплённое ссылкой на документ, является самоуправством. Где-то на двадцатой минуте он дошёл до слов «и, наконец, выражая надежду, что...», но тут обнаружил, что пропустил ссылку на постановление губернской управы, вернулся и начал сначала.

Всё это время командор пробега провёл в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживлённо шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей Потанина к одному месту.

Наконец председатель кончил. Пожарный оркестр сыграл

туш вполсили. Остап шагнул к краю кафедры, поправил на рукаве французскую повязку «Liaison» и поднёс ко рту мегафон.

— Я рад, граждане, — заявил Остап в ответной речи, — нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину села Убинского! Автомобиль, граждане, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идёт на смену крестьянской телеге. Наладим серийное производство сибирских автомашин! Ударим автопробегом по кризису и бездорожью! Процветание, граждане, за углом, — Остап сделал широкий жест в сторону ближайшего угла, где стояла лавка потребобщества, — и мы за ним едем! Я кончаю, граждане. Предварительно закусив, мы продолжим наш далёкий путь!

Толпа загремела. Пожарный оркестр, забыв про облигации, грянул марш в полную силу. Председатель комиссии прослезился и сказал, что за тридцать лет земской службы не слышал речи короче и содержательнее.

Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. За правлением волости, у пожарного сарая, он нашёл большую железную бочку с трафаретной надписью «STANDARD OIL. Для нужд земства и встречи пробега». Он наполнил бак бензином, который, как и обещал Остап, оказался американским, высшей очистки. Затем он беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменял камеры на всех четырёх колёсах за счёт санитарной

двуколки земской больницы, у которой, по счастью, оказались почти такие же шины, захватил насос и даже домкрат. Санитар, приставленный к двуколке, попытался было возразить. Но Козлевич посмотрел на него таким честным взглядом и сказал «для головной машины» таким голосом, что санитар сам помог ему снять колёса. Этим Козлевич совершенно опустошил как базисный, так и операционный склады Убинского отделения Сибирского автомобильного общества, которое, впрочем, состояло из одного санитара и одной двуколки.

Потом путешественников повели обедать в земскую больницу, где в честь пробега был накрыт стол на восемьдесят персон, на всех сорок «Фордов». Пришли четверо. Остальные семьдесят шесть приборов земство раздало больным, и больные Убинской земской больницы впервые за весь кризис наелись досыта пельменями, курицей и пирогами с черёмухой. Главный врач впоследствии говорил, что в его больнице это был самый счастливый день и что смертность в тот месяц снизилась на треть.

— Дорога до Новониколаевска обеспечена материалами, — сказал Остап, когда Сайгак-ага, сытый, заправленный и обутый в новые камеры, выезжал из Убинского под звуки пожарного марша. — Не было, правда, денег. Но это меня не беспокоит. В Убинском мы прекрасно пообедали, и деньги, в сущности, ещё не нужны.

— А дальше? — спросил Балаганов.

— О карманных деньгах не надо думать, — сказал Остап.
— Они валяются на дороге, и мы будем их подбирать по мере надобности.

7.

Между Каинском, основанным в тысяча семьсот двадцать втором году, и Владивостоком, основанным в тысяча восемьсот шестидесятом, лежали сто тридцать восемь лет и четыре тысячи восемьсот вёрст Великого Сибирского тракта.

За триста лет на этом тракте появлялись различные фигуры.

Шли по нему казаки Ермака, бородатые, в кольчугах, снятых с убитых татар, и несли на плечах струги через волоки от реки к реке. Шли за ними служилые люди и землепроходцы с пищалями, искавшие соболя и тёплого моря. Тянулись по нему обозы с пушниной на запад и обозы с ружьями на восток. Мчались по нему ямщицкие тройки с колокольцами под дугой, и в тройках сидели губернаторы, ревизоры, курьеры с секретными пакетами, купцы с векселями и женихи с подарками. Ехал по нему в тарантасе, ругая тракт в письмах на каждой станции, писатель Чехов, направлявшийся на Сахалин, и записал, что сибирская дорога — самая большая и, кажется, самая безобразная на всём свете.

Брели по этому тракту и другие. Звенья кандалами, шли по нему в каторгу и ссылку партии арестантов, и над ними пели песню, которую потом пела вся Сибирь, — «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандалный». Шли декабристы, бывшие гвардейские офицеры, по шесть тысяч вёрст пешком. Шли

петрашевы. Шли польские повстанцы шестьдесят третьего года в конфедератках, и среди них, может быть, шёл прадед Адама Казимировича Козлевича, — а может быть, и прадед Паниковского, хотя насчёт полицмейстера города Бердичева Козлевич по-прежнему сомневался. Шли народники, шли социал-демократы, шли эсеры, которые потом основали на этой земле республику. Шли переселенцы из голодных губерний, со скарбом на телегах, с иконами и детьми.

Шли по тракту, вдоль железной дороги, и чешские легионеры, торопившиеся домой. Ехали по нему в двадцать пятом году первые «Форды» кооператоров, купленные в рассрочку. Ехали по нему в тридцатом году агенты Сибирско-Американского общества автомобильного кредита, отбиравшие эти «Форды» за долги. А теперь шёл по нему великий автопробег «Стандард Ойл», и впереди пробега, на один день, кашляя сайгачьим клаксоном и неся над собой аульную простыню с надписью «Автопробегом — по кризису и бездорожью!», шёл Сайгак-ага с четырьмя жуликами.

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие. Были отменены кандалы, побеждены цинга и оспа. Люди научились брить бороды и голосовать тайным голосованием. Была построена железная дорога и Транссибирский мост через Обь. Было созвано Учредительное собрание и провозглашена республика. Появились земство, кооперация, американские кредиты, радио и выигрышный заём индустриализации.

А тракт остался таким же, каким был при Ермаке.

Он был так же широк, как степь, так же пылен в сухую погоду и так же непроходим в мокрую. Всё на нём осталось как было: колеи, ухабы, гати через болота, мостики без перил, верстовые столбы, покосившиеся под всеми режимами одинаково, и придорожные кресты над теми, кто до конца не доехал. Цари и республики сменяли друг друга, а грязь на Сибирском тракте оставалась верноподданной только самой себе.

Заседание продолжалось.



Глава VII. Сладкое бремя славы

1.

Ранним утром Сайгак-ага выехал из колка, где ночевал экипаж, и покатил по тракту дальше на восток.

Солнце вставало прямо по курсу, огромное и красное, как лицо председателя волостной комиссии в конце получасовой речи. Над озёрами поднимался туман. Утки с шумом срывались с воды и летели над машиной, словно почётный эскорт. Аульная простыня с надписью «Автопробегом — по кризису и бездорожью!» трепетала на берёзовых жердях. Козлевич, выспавшийся и умытый, вёл машину бережно и с достоинством. Остап дремал на заднем сиденье, надвинув на глаза французское кепи. Балаганов чистил тряпочкой медный клаксон. Паниковский сидел рядом с Остапом, держался за борт обеими руками и тихо жаловался сам себе на тряску, на комаров, на судьбу и на гуся, которого ему не дали съесть.

Через десять вёрст впереди, на обочине, показался автомобиль.

Это был большой серебристый «Бьюик», новенький, сверкающий никелем, с откидным верхом и с жёлтыми колёсами. Он стоял, накренившись на правый бок. Под ним, на разостланной клеёнке, лежал шофёр. Рядом с машиной прогу-

ливались двое румяных пожилых джентльменов в серебристых шляпах, крахмальных воротничках и красных матовых башмаках. Третий человек, в длинном прорезиненном плаще, распространявшем вокруг себя такой резкий калошный запах, что его чувствовали даже утки над озером, стоял у радиатора и с отчаянием смотрел на степь.

— Терпите бедствие? — спросил Остап, когда Козлевич остановил машину.

Человек в плаще раздражённо заговорил о лопнувшей шине, о проклятой барабинской дороге, о шофёре, который не взял запасную камеру, и о жизни вообще. Но бормотание его пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в ста пятидесяти верстах от ближайшего губернского центра, посреди Барабинской степи, прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыплёнка. Это взволновало великого комбинатора.

— Скажите, — перебил он, — эти двое не из Рио-де-Жанейро?

— Нет, — ответил человек в плаще. — Они из Чикаго. А я переводчик из бюро путешествий «Сибтурист».

— Что же они здесь делают, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Томска, от Сибирской думы, от университетской рощи и от знаменитого Лагерного сада? Не понимаю. Зачем вы их сюда завезли?

— А ну их к чёрту! — со скорбью сказал переводчик. — Третий день уже носимся по деревням как угорелые! Заму-

чили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких ещё не видел.

И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников.

— Это скотопромышленники. Мистер Хайрам Берман и мистер Чарльз Тенди. Из Чикаго, со скотобоен. Приехали по случаю кризиса скупать сибирский скот у разорившихся артелей. Говорят, что сейчас в Сибири можно купить корову по цене консервной банки. Это верно, к сожалению. Купили уже три тысячи голов под Омском. Скот погонят во Владивосток, оттуда пароходом в Сан-Франциско. А эти двое отбились от делегации и стали ездить по деревням.

— Это похвально, — сказал Остап. — Широкие массы американских миллионеров знакомятся с бытом сибирской деревни в период кризиса.

Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой «Бьюика». Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:

— Как же! Так им и нужна сибирская деревня! Самогон им нужен, а не деревня!

При слове «самогон», которое переводчик произнёс с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.

— Вот видите! — сказал переводчик. — Слова этого спокойно слышать не могут.

— Да, — сказал Остап. — Тут какая-то тайна. Или извращённые вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон,

когда в нашем отечестве имеется такой большой выбор благородных крепких напитков: водка «Сибирская трезвость» завода Ляховского, омская «Ермаковская горькая», томская «Университетская», рябиновая, черёмуховая, наконец, минусинское игристое.

— Всё это гораздо проще, чем вам кажется, — сказал переводчик. — Они ищут рецепт. Рецепт сибирской кедровки.

— Ну конечно! — закричал Остап. — Ведь у них сухой закон! Всё понятно. Достали рецепт? Ах, не достали? Ну да. Вы бы ещё на трёх «Бьюиках» приехали! Ясно, за кого вас принимают. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить.

— За кого? — тоскливо спросил переводчик.

— За акцизный надзор, — сказал Остап.

Переводчик хлопнул себя по лбу.

Дело в том, что Сибирская дума, нуждаясь в деньгах для индустриализации, ещё в двадцать четвёртом году ввела акциз на спиртные напитки. Акциз был умеренный, разумный и справедливый, принятый всеми тремя фракциями после долгой дискуссии о том, является ли водка пережитком буржуазного быта (эсдеки), народной традицией (областники) или правом свободного крестьянина (эсеры). Сошлись на том, что водка является всем трём одновременно и потому должна облагаться налогом. Но сибирский мужик, как известно, не любит никаких налогов, даже утверждённых своей думой. И поэтому у каждого третьего двора в Барабе, где-нибудь в бане, в овине или в погребке за кадущкой с капустой,

стоял аппарат. А по трактам ездили на автомобилях акцизные чиновники.

— Поверите ли, — стал жаловаться переводчик, — как только въезжаем в деревню — всё. Мужики уходят в себя. Бабы прячут детей. Собаки и те молчат. Говорят, что про самогона знать не знают, никогда его не видели и вообще слышат это слово первый раз. Квас, говорят, пожалуйста. Медовуху, говорят, пожалуйста, это у нас по праздникам, это разрешено. А кедровки в Барабе отродясь не водилось, это, говорят, в Томской губернии, а у нас кедров нету. А у самих из бани дым идёт, и пахнет на всю деревню смолой! На меня стали бросаться. Расскажи, расскажи им секрет кедровки. А я не самогонщик! Я член профсоюза работников просвещения. Я в Томске на курсах английского языка преподаю. У меня в Томске старуха-мама.

— А вам очень хочется обратно в Томск, к маме?

Переводчик жалобно вздохнул.

— В таком случае заседание продолжается! — промолвил Бендер. — Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полтора ста дадут?

— Дадут двести, — зашептал переводчик. — А у вас в самом деле есть рецепт?

— Сейчас же вам продиктую, то есть сейчас же по получении денег. Какой угодно. Кедровку на скорлупе, кедровку на ядре, кедровку на смоле. Брусничную, клюквенную, черёмуховую, облепиховую. Медовуху ставленную и медовуху варё-

ную. Можно из пшеницы, можно из ржи, можно из картошки, можно из сахарной свёклы, а можно, при известной сноровке, и из старых валенок. Некоторые любят валеночную. Одним словом, любой из ста пятидесяти самогонов, рецепты которых мне известны.

2.

Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Мистер Берман говорил «гуд, гуд» и тряс Остапу руку. Мистер Тенди ничего не говорил и только улыбался, показывая большие белые зубы, на которых, как показалось Паниковскому, были золотые пломбы.

Затем приступили к делу.

Американцы выбрали кедровку на ядре, которая привлекла их простотой выработки и, по словам переводчика, напомнила им о лесах Висконсина. Рецепт долго записывали в блокноты: столько-то фунтов очищенного кедрового ореха, столько-то вёдер пшеничного первача, настаивать сорок дней в тёмном месте, процеживать через берёзовый уголь, а для цвета прибавить горсть скорлупы, обжаренной на сковородке. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних глаз в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технологии изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап, со своей стороны, заверил американцев, что аппарат его конструкции даёт в день ведро прелестного ароматного первача.

— О! — закричали американцы. — Pervatch! Pervatch!

Они уже слышали это слово. В одной знакомой почтенной семье из Чикаго глава семейства служил в восемнадцатом году в американском экспедиционном корпусе генерала Грейвса, который стоял во Владивостоке и охранял Транссибирскую магистраль. Корпус охранял магистраль два года и за это время не сделал ни одного выстрела, потому что стрелять было не в кого: красные были далеко, белые были свои, а партизаны предпочитали нападать на японцев. Зато солдаты корпуса за эти два года хорошо изучили сибирские напитки. Глава почтенной семьи пил на станции Хабаровск pervatch и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал. Он рассказывает о нём на каждом семейном обеде, и его внуки уже знают эту историю наизусть.

В устах разомлевших скотопромышленников грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво, как звучит слово «вермут».

Американцы легко отдали двести рублей сибирскими банкнотами с видом Томского университета и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твёрдую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.

Козлевич тем временем помог шофёру «Быюика» почи-

нить шину, причём сделал это так ловко, что шофёр, американец из Сан-Франциско, долго тряс ему руку и спрашивал, где он учился. «В Томском исправительном доме», — честно ответил Козлевич. Шофёр не понял, но на всякий случай уважительно кивнул.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание прокричал сайгачьим клаксоном, и под этот протяжный звериный звук автомобили разъехались в противоположные стороны: серебристый «Бьюик» — на запад, к Омску и стадам, а зелёный Сайгак-ага — на восток.

— Видите, — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. — Всё произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.

И он затрещал пачкой кредиток.

— Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая. Но опрятность, честность — вот что дорого. Двести рублей! В пять минут! И я не только не нарушил законов, но даже всем сделал приятное. Экипаж Сайгака-аги снабдил денежным довольствием. Старухе-маме в Томске возвратил сына. Американским скотопромышленникам дал то, чего не может дать им вся американская демократия с её Конституцией и Верховным судом. И наконец, не выдал ни одного сибирского самогонщика акцизному надзору. Я считаю, что мне полагается орден.

3.

Вдруг Паниковский залился смехом.

Командор строго на него посмотрел, но Паниковский не унимался. Его трясло. Много раз он пытался начать какую-то фразу, но смех вколачивал слова обратно в глотку.

— Ну! — кричали все. — Да говорите вы наконец!

— Всё, — сказал Паниковский, задыхаясь и плача, — произошло... произошло, как я вам... хотел сказать!..

Паниковский упал на спину, задёргал тоненькими ножками и закатился таким конвульсивным смехом, что Козлевич на всякий случай остановил машину.

— Мы ехали. На дороге валялись золотые часы. Я их подобрал. И они тоже не запылились!

И Паниковский помахал перед изумлёнными спутниками толстыми золотыми часами на цепочке. На крышке часов была выгравирована надпись по-английски, из которой следовало, что часы подарены мистеру Хайраму Берману благодарными работниками чикагских скотобоен в день двадцатипятилетия его предприятия.

Остап посмотрел на часы, потом на Паниковского, потом в ту сторону, где скрылся «Бьюик».

— Паниковский, — сказал он медленно, — вы понимаете, что вы сделали? Вы обокрали иностранного гражданина на территории Сибирской республики. Это уже не мировой

судья, это окружной суд. Это консул. Это нота. Это, может быть, торговый договор.

— Он не заметил, — сказал Паниковский. — Он тряс мне руку. Очень долго тряс. А второй рукой я...

Остап простил Паниковского только потому, что история с часами была, по его словам, «красиво подана».

— Но это в последний раз, — добавил он. — При повторении беспощадно выкину из машины. Нам предстоят серьезные дела, основанные не на ловкости рук, а на ловкости ума. Вы со своими мелкими кражами можете нас подвести. Золотые часы — предмет роскоши. Они нам не нужны. Зато на мои честно заработанные деньги мы сможем экипироваться в ближайшем же городе. Шура, спрячьте часы. Не надо, чтобы их видели. Особенно надпись.

Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырезанную им из «Сибирской жизни», и возвестил приближение города Каргата.

— Городок очень маленький, — сказал Бендер. — Это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Поэтому попросим у любезных хозяев обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности! Поправьте плакат. Он у вас висит, как флаг капитулировавшей крепости.

4.

Понаторевший в торжественных финишах Козлевич на этот раз рассчитал бензин и лихо осадил Сайгака-агу перед самой трибуной, сколоченной на базарной площади у волостного правления.

Каргат встречал пробег скромно, но с душой. Трибуна была обтянута не кумачом, а простым ситцем в синий горошек, потому что кумач в Каргате кончился ещё на выборах. На трибуне стояли председатель волостной управы, мировой судья, батюшка, учитель, фельдшер, председатель лопнувшей маслоартели и представитель Союза сибирской молодёжи с гармонью. Над трибуной висел плакат «ПРОЦВЕТАНИЕ — ЗА УГЛОМ!», и здесь, как и в Убинском, его повесили точно на углу, у поворота к станции. Видимо, сельские писари по всей Барабе читали одну и ту же газету и делали из неё одинаковые выводы.

Здесь Бендер ограничился кратким приветствием.

— Граждане каргатцы! — сказал он в мегафон. — Мы пробежали сегодня семьдесят вёрст, мы устали и голодны. Сначала обед — потом речи. Это не наш каприз, граждане, это требование автомобильной техники. Мотор работает на бензине, а автомобилист — на пельменях.

Предложение было встречено с пониманием. Председатель волостной управы, который как раз раскрыл папку с

приветственной речью на одиннадцать страницах, с облегчением закрыл её и спрятал за пазуху. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом в чайной Общества трезвости (пельмени, шаньги, уха из карасей и квас, поскольку чайная была трезвая), автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья.

Их окружали любопытные. Мальчишки бежали впереди и кричали: «Пробег! Пробег!» Девушки выглядывали из калиток. Старики снимали шапки. Сайгаковцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затащил «Славное море, священный Байкал», хотя до Байкала было ещё две тысячи вёрст. Паниковский подтягивал фальшиво. Козлевич шёл молча и время от времени оглядывался на Сайгака-агу, оставленного у трибуны под охраной мальчика с гармонью.

5.

Магазин готового платья «Каргатский модник. Т-во Шершнёв и сыновья» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь фасад двухэтажного дома. На вывеске были намалёваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвёрнутыми наружу енотовыми полами; дамы с муфтами; коротконогие дети в матросских костюмчиках; кооператоры в сапогах и жилетках с часовыми цепочками; курсистки в беретах; и один американец в ковбойской шляпе, которого художник, по-видимому, срисовал с какого-то киноплаката, потому что американец держал в руке револьвер.

Всё это великолепие разбивалось о две бумажки, приклепленные к входной двери. На верхней было крупно выведено красными чернилами:

«РАСПРОДАЖА! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ВТРОЕ!»

А пониже, на клочке обёрточной бумаги, другой рукой, химическим карандашом, нервно и криво было приписано:

«Всё равно не берут».

— Сразу видно, что кризис, — сказал Остап, входя. — Знаете, Шура, чем мы отличаемся от Совдепии? В Совдепии на дверях магазина пишут: «Штанов нет». А у нас штаны есть. У нас нет того, на что их купить. Вот это и есть разница между коммунизмом и демократией. При коммунизме нет

товаров, при демократии нет покупателей. А в остальном всё одинаково: и там, и тут человек ходит без штанов.

Внутри было просторно и пусто. Товару было много. Он висел на вешалках, лежал на полках, стопками громоздился на прилавках и на полу. Были здесь пиджаки и брюки, косоворотки и толстовки, американские ковбойки и шанхайские макинтоши, бурки, валенки, сапоги, шляпы, картузы, кепи и даже два фрака, выписанных хозяином во времена процветания, о котором так много говорил тогда президент Вологодский, в расчёте на то, что каргатские маслоделы станут ездить в Томск на балы. Маслоделы на балы так и не поехали. Фраки висели в углу, траурно опустив фалды.

Покупателей не было. За прилавком сидел сам хозяин, Шершнёв-старший, пожилой человек с бородой и с таким лицом, какое бывает у капитана корабля, который тонет медленно и знает об этом. Сыновей при нём не было. Один сын, как выяснилось потом, уехал искать работу на осушение Барабинских болот, другой — на строительство Кузнецкого комбината.

Увидев посетителей, Шершнёв-старший медленно поднялся. На лице его было написано недоверие, как у человека, который уже не верит в чудеса.

— Покупать? — спросил он. — Или опять из конкурсного управления, опись делать?

— Покупать, — сказал Остап. — За наличные.

Шершнёв-старший сел обратно на стул, потому что у него

подкосились ноги.

В магазине автомобилисты задержались недолго, но провели время с пользой.

Для Балаганова нашлась к его ковбойке «Аризона» настоящая стетсоновская шляпа с дырочками. Шляпа была американская, привезённая из Харбина, и стоила когда-то двадцать рублей, а теперь отдавалась за шесть. Балаганов надел её, посмотрел на себя в зеркало и замер. Из зеркала на него смотрел ковбой с киноплаката, только без револьвера.

— Шура, — сказал Остап, — теперь вы похожи на американца. Не на настоящего, конечно, а на такого, какого рисуют на вывесках в Каргате. Но в Сибири этого достаточно.

Паниковскому выбрали куртку. Он долго примерял пиджаки, но все пиджаки на нём висели так, будто их сняли с утопленника. И тогда хозяин, порывшись в задней комнате, вынес нечто особенное. Это была тёмно-синяя куртка с медными пуговицами, со стоячим воротником и с красными кантами, — форменная куртка Каргатского добровольного пожарного общества. Общество разорилось вместе с маслоартелью, которая его содержала, и его имущество было продано с торгов. Шершнёв-старший купил на торгах сорок пожарных курток, рассчитывая продать их мужикам как рабочую одежду. Мужики покупать не стали, потому что куртки были слишком красивые для работы.

Паниковский надел куртку и преобразился. Медные пуговицы засияли. Стоячий воротник подпёр подбородок. Пле-

чи, которых у Паниковского не было, вдруг обозначились. Он стал похож на брандмейстера в отставке, на капельмейстера уездного оркестра и на швейцара хорошей гостиницы одновременно.

— Чудо! — сказал Остап. — Паниковский, вы теперь государственный человек. В этой куртке вас пропустят в любое присутствие. Вам будут козырять городовые. Но запомните: если вы в этой куртке что-нибудь украдёте, вас будут судить не как вора, а как пожарного. А пожарных в Сибири судят строже, потому что пожарный должен тушить, а не таскать.

Козлевичу досталась хромовая тужурка, коричневая, блестящая, скрипящая на сгибах, точно такая, какую носили шофёры американских инженеров во времена процветания. Козлевич погладил её и сказал, что он недостоин. Ему сказали, что достоин. Он надел.

Себе Остап купил немного: пару носков, чтобы больше не носить парусиновые туфли на босу ногу, и новый шарф взамен выцветшего японского. Шарф был шёлковый, цвета спелой брусники, и Остап повязал его так же высоко и плотно, как прежний.

Когда расплачивались, Шершнёв-старший плакал. Это были первые покупатели за месяц. Он заворачивал покупки в «Сибирскую жизнь», перевязывал бечёвкой и плакал, не стесняясь, как плачут старики на похоронах и на свадьбах. Остап, растроганный, накинул ему рубль сверх счёта. Шершнёв-старший взял рубль, посмотрел на него и сказал:

— Я его, господа, в рамку вставляю. И повешу над прилавком. Первый рубль после краха. Может, он мне удачу принесёт. Может, и правда — процветание за углом.

И он посмотрел в окно, на плакат, висевший над трибуной на углу.

6.

Обновлённый экипаж вернулся к трибуне ровно через два часа, как и было условлено.

Митинг начался. Председатель волостной управы вынул из-за пазухи папку с речью на одиннадцати страницах и приступил к чтению. Он дочитал до третьей страницы, где говорилось о значении автомобилизма для развития маслоделия, когда на площадь, придерживая рукой сумку, вбежала почтовая барышня. Она протиснулась сквозь толпу к трибуне и подала председателю телеграфный бланк.

Председатель, не прерывая чтения, взял бланк, чтобы положить его в папку. Но, взглянув на него, остановился на полуслове, на слове «таким образом», и долго смотрел на бумагу. Потом надел очки. Потом снял очки и посмотрел ещё раз.

Остап, стоявший рядом с ним на трибуне, скосил глаза на бланк. Телеграмма была короткая:

«КАРГАТ ВОЛОСТНОЙ УПРАВЕ ТЧК ВПЕРЕДИ ПРОБЕГА ДВИЖЕТСЯ САМОЗВАННАЯ МАШИНА ТЧК ПРИМЕТЫ ЗЕЛЁНАЯ СТАРАЯ КРИЧИТ ПО-ЗВЕРИНОМУ ТЧК СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ КАИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ МИЛИЦИИ ТЧК ЗАДЕРЖАТЬ ТЧК ПИБОДИ СТАНДАРД ОЙЛ ОМСК».

Великий комбинатор понял, что правовое государство,

медленное, но неумолимое, как ледник, только что догнало его на тракте. Протокол каинского милиционера, составленный по всей форме, с указанием примет транспортного средства, прошёл через уездную милицию в губернскую, из губернской — в канцелярию пробега в Омске, и мистер Пибоди из «Стандард Ойл», прочитав его, без труда догадался, какая машина кричит по-звериному. Остап почувствовал к каинскому милиционеру нечто вроде уважения.

Председатель волостной управы медленно поднял голову от телеграммы и посмотрел на Сайгака-агу, стоявшего у трибуны. Сайгак-ага был зелёный. Сайгак-ага был старый. Председатель перевёл взгляд на Остапа.

— Граждане, — сказал Остап очень громко, прежде чем председатель успел открыть рот, — нас вызывают! Срочная телеграмма из штаба пробега! Головная машина должна немедленно продолжить путь, чтобы встретить губернатора в Новониколаевске! Благодарю за приём! Улучшайте дороги! Процветание за углом!

И он прыгнул с трибуны прямо в машину.

Экипаж понял всё без слов. Балаганов, придерживая стетсоновскую шляпу, перемахнул через борт. Паниковский, сверкая медными пуговицами пожарной куртки, вскарабкался на заднее сиденье со скоростью, которой позавидовал бы настоящий пожарный, бегущий на вызов. Козлевич, уже сидевший за рулём, прошептал: «Сайгак-ага, пожалуйста, побыстрее», — и нажал на стартёр.

Сайгак-ага, понимая серьёзность момента, завёлся с первого раза.

— Держите их! — закричал председатель волостной управы, размахивая телеграммой. — Это самозванцы! Это не пробег!

Но толпа не поняла. Толпа решила, что председатель кричит «Держитесь!» и что это напутствие. Толпа закричала «ура». Пожарный оркестр, который в Каргате тоже был, хотя пожарного общества уже не было, грянул марш. Мальчик с гармонью растянул мехи. Батюшка перекрестил машину. Мировой судья, единственный, кто прочёл телеграмму через плечо председателя, бросился к телефону в волостном правлении, но телефон, как выяснилось, был отключён за неуплату ещё в мае.

И Сайгак-ага, выбросив синий клуб дыма и протяжно прокричав на прощанье сайгачьим клаксоном, вылетел с базарной площади, обогнул угол, на котором висел плакат «Процветание — за углом!», и скрылся за этим углом.

Жители Каргата долго потом рассказывали, что в тот день им показалось, будто процветание и правда было за углом: оно выглянуло на минутку, оказалось зелёным, старым и кричащим по-звериному, и тут же умчалось на восток.

А в магазине «Каргатский модник» Шершнёв-старший вставлял в рамку свой первый рубль после краха и ещё не знал, какой путь проделал этот рубль. Он приехал из Чикаго долларом, в Омском отделении Сибирского государственно-

го банка превратился в рубль с видом Томского университета, должен был стать платой за сибирскую корову, купленную по цене консервной банки, а вместо этого был отдан за рецепт кедровки и потом — за пожарную куртку Паниковского.

Но это был честный рубль. Один из немногих в этой истории.



Глава VIII. Кризис жанра

1.

Сайгак-ага бежал от Кургата всю вторую половину дня и весь вечер, не сбавляя хода, словно и сам понимал, что за ним гонится протокол каинской земской милиции, размноженный по телеграфу. Только когда стемнело и на небе выпали крупные барабинские звёзды, Остап велел свернуть с тракта в берёзовый колок и заглушить мотор.

— Генералитет, — сказал он, вылезая из машины и потягиваясь, — прошу на военный совет.

Генералитет расселся на траве. Козлевич сел у переднего колеса, прислонившись к нему спиной, как к стене родного дома. Балаганов лёг на живот, подперев голову руками, и стетсоновская шляпа съехала ему на нос. Паниковский устроился на подножке, застегнув пожарную куртку на все медные пуговицы, потому что ночью в Барабе холодно даже в июле.

— Положение серьёзное, — сказал Остап. — Наши приметы известны всей губернии. Зелёная, старая, кричит по-звериному. Через день о нас будут знать в Новониколаевске, через три — в Томске, через неделю — в Иркутске. В правовом государстве, господа, телеграф работает быстрее, чем

самая быстрая машина. Это его главный недостаток. Прошу высказываться. Начнём с младших по званию. Адам Казимирович?

— Машину надо посмотреть, — подумав, сказал Козлевич. — Подремонтировать. Левая фара слабеет. Задний мост стучит. Камеры, правда, новые.

— Это не идея, — сказал Остап. — Это жизненная правда. А нам сейчас нужен полёт фантазии. Полковник Балаганов?

— Нужно прорываться! — воскликнул Шура, сдвигая шляпу на затылок. — Ехать прямо во Владивосток! День и ночь! Пусть ловят!

— Полковник молод, — прокомментировал Остап. — В нём говорит сейчас, по меньшей мере, атаман Ермак. Ермак, как известно, тоже прорывался. Кончилось это для него в Иртыше. Ну а вы, прапорщик Паниковский? Вы тоже хотите прорываться?

Но прапорщик Паниковский был противником шума, погони и вообще бесцельной храбрости.

— В чём дело! — сказал он. — Нужно продать машину и ехать поездом. Как люди.

Козлевич издал гневный стон, вскочил и встал между Паниковским и радиатором, раскинув руки, как мать, заслоняющая ребёнка от злодея.

— Не дам! — сказал он. — Она всё слышит! Она обидится!

Сайгак-ага в темноте молчал, но всем почему-то показалось, что он действительно обиделся.

— Другими словами, — холодно сказал Остап, — вы хотите для удовлетворения своих мелких страстей продать чужую машину, к тому же старше вас по возрасту, давшую слово аксакалу Байжану? Нет! Вижу, что никого из вас не посетило вдохновение. В заключительном слове я хотел бы указать на обычай, существующий в Америке. Там краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений — чтобы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. Хотя Сайгак-ага и не краденый, его нужно перекрасить. Этого требуют суровые законы жизни.

Генералитет согласился с мнением командора. Решено было подъехать на рассвете к ближайшему большому городу, войти в него пешим порядком и достать красок, а для машины подыскать надёжное убежище за городской чертой.

2.

Около полуночи, когда экипаж уже собирался спать, со стороны тракта донёлся гул.

Гул нарастал. Сначала это был далёкий рокот, похожий на гром за горизонтом. Потом в рокоте стали различаться отдельные голоса моторов. Потом на тракте, в версте от колка, показался свет. Это был не один свет, а много: два, четыре, десять, двадцать огней, и все они двигались, покачиваясь, по тёмной степи, как светящаяся гусеница.

— Ложись! — скомандовал Остап.

Экипаж упал в траву. Козлевич накрыл Сайгака-агу своей новой хромовой тужуркой, хотя тужурка закрывала только радиатор.

По тракту шёл Великий Сибирский автопробег.

Машины шли одна за другой, держа дистанцию, как солдаты на параде. Впереди, в открытом «Форде» с флажком «Стандард Ойл» на радиаторе, стоял, держась за ветровое стекло, высокий человек в кожаном пальто и в кепи, — по-видимому, мистер Пибоди. В руках у него был мегафон, и время от времени он что-то говорил в него по-английски, хотя слушать его в степи было некому, кроме сусликов. За ним шли остальные. Это были обыкновенные чёрные «Форды», крепкие, тяжёлые, с жёлтыми колёсами, и в каждом сидели двое молодых людей в кожаных крагах, в очках-консервах и

в одинаковых фуражках с кокардой Сибирско-Американского общества автомобильного кредита. Это были банковские конторщики. Ещё месяц назад они сидели в омской конторе общества и вели книги рассрочек. Теперь их посадили за руль отобранных машин и отправили через всю Сибирь возвращать населению веру в автомобиль.

Полотнища ослепляющего света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных сайгаковцев. Прах летел из-под колёс. Протяжно завывали клаксоны.

У околицы деревни, видневшейся в полуверсте за колком, тоже стояли люди. Остап разглядел их при свете фар. Это были мужики, бабы, какой-то человек в городском пиджаке, по виду бывший агроном. В руках у них были фонари. Они стояли у дороги молча и смотрели на проезжающие машины.

Когда мимо проходил седьмой «Форд», человек в городском пиджаке вдруг поднял фонарь и закричал:

— Левую фару береги! Она у тебя слабая! Левую!

Конторщик за рулём седьмого «Форда» удивлённо оглянулся, но машина уже прошла.

— Это его была, — тихо сказал Козлевич, приподнявшись на локте. — «Форд». Седьмой. Я по вмятине узнал. Это агроном из Чулыма. Я его в Каинске на ярмарке видел, в двадцать восьмом году. Он на ней корову сбил.

А у околицы люди с фонарями всё стояли и смотрели вслед. Кто-то из баб помахал рукой. Кто-то из мужиков пере-

крестился. Человек в городском пиджаке опустил фонарь и долго стоял, не двигаясь, пока последний «Форд» не скрылся во тьме.

В минуту всё исчезло, и только долго ещё колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго ещё сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам завидно, Шура?

— Завидно, — честно признался Балаганов. — Сорок машин! И все новые!

— А мне — нет, — сказал Остап, глядя в ту сторону, где у околицы гасли фонари. — Это не их машины, Шура. Это машины тех, кто стоит у околицы с фонарями.

И он отвернулся и пошёл к Сайгаку-аге, на котором всё ещё лежала, прикрывая радиатор, хромовая тужурка Козлевича.

3.

В четвёртом часу утра затравленный Сайгак-ага остановился над обрывом.

Внизу, на берегу широкой серой реки, лежал большой город. Он был нарезан аккуратно, как пирог: прямые улицы, кварталы, площади. Разноцветные утренние пары носились над ним. Над городом, через реку, перекинулся длинный железнодорожный мост на каменных быках — тот самый мост, ради которого тридцать с лишним лет назад здесь, на пустом месте, и возник город. По мосту, медленно, как гусеница по ветке, полз товарный поезд. Над городом поднимались трубы, купол собора Александра Невского, элеваторы, водонапорная башня и леса какой-то новой стройки. Еле уловимый треск и посвистывание почудились сайгаковцам. Вероятно, это храпели граждане.

Это был Новониколаевск, самый молодой и самый быстрорастущий город Сибирской республики, который в Томске называли выскочкой, в Омске — нахалом, а в Колывани — Кривощёковом.

— Райская долина, — сказал Остап. — Такой город приятно грабить рано утром, когда ещё не печёт солнце. Меньше устаёшь.

— Сейчас как раз раннее утро, — заметил Паниковский, льстиво заглядывая в глаза командору.

— Молчать, золотая рота! — закричал Остап. — Вот неугомонный старик! Шутки не понимает! К сожалению, город придётся оставить в покое и знакомство с ним ограничить посещением москательной лавки. Оставайтесь здесь, а я обревизую окрестности. Может быть, удастся найти подходящий сарайчик.

Остап быстро пошёл по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косою бревенчатый домик, засевший в глубине редкой берёзовой рощицы. Окошки домика поблёскивали речной синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся Остапу подходящим для сокрытия и перекраски машины.

Пока великий комбинатор размышлял о том, кто может жить в этом отдалённом от всякого жилья домике и как лучше подойти к его жильцам, дверь отворилась и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с чёрными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была бы совершенно заурядной. В то время большинство мужчин выращивало на лице такие вот казённые верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни ордена Святой Анны, ни петлиц действительного статского советника, — это лицо казалось ненатуральным, как приклеенное.

— О, господи! — застонал обитатель бревенчатого домика, подымая к пепельному небу отчаянное лицо. — Господи,

господи! Опять тайга! Опять!

— Что с вами, папаша? — участливо спросил Остап, под-
ходя ближе. — Тайга на вас напала?

Старик посмотрел на Остапа так, как смотрит утопающий
на человека, который протянул ему руку.

— Сны! — сказал он. — Мне снятся сны! Ужасные сны!

4.

Фёдор Никитич Хворобьев был монархистом, москвичом и ненавидел Сибирскую республику.

Он родился в Москве, в Замоскворечье, в доме с мезонином, учился в Москве, служил в Москве и до семнадцатого года был попечителем Московского учебного округа. Москву он любил так, как любят только те, кто в ней родился и никогда не выезжал дальше Сокольников. Он любил московские колокола, московские калачи, московские берёзки на Воробьёвых горах, московскую грязь на Арбате и московскую привычку считать, что за Тверской заставой начинается Азия.

В восемнадцатом году большевики выгнали Фёдора Никитича из попечительства, из дома с мезонином и из Москвы. Он бежал на восток с одним чемоданом и с портретом государя, зашитым в подкладку пальто. Бежал он не в Сибирь, а от большевиков. Сибирь просто оказалась на пути. Он рассчитывал переждать в Омске месяц-другой, пока белые возьмут Москву. Но белые Москву не взяли. Сибирь заключила с большевиками мир. И Фёдор Никитич остался в Азии, которая начиналась за Тверской заставой.

Жить было не на что. Пришлось служить. Новониколаевское губернское земство взяло бывшего попечителя учебного округа на должность заведующего отделом народного об-

разования, потому что людей с опытом не хватало, а Фёдор Никитич был человек опытный. Это вызывало в нём отвращение.

На службе его бесило всё. Его бесили земские собрания, где мужики в косоворотках голосовали за бюджет школ. Его бесили три партии, которые нельзя было отличить одну от другой. Его бесили учительницы, стриженные, курящие, читающие Потанина. Его бесило тайное голосование. Его бесил бело-зелёный флаг над подъездом земской управы. Но больше всего его бесила сама Сибирь — огромная, холодная, бородатая, пахнувшая смолой и рыбой, которая почему-то считала себя не провинцией, а государством. Прослужив десять лет, Фёдор Никитич вышел на пенсию — земскую, разумеется, ибо другой не было, и это тоже его бесило, — купил домик над Обью, подальше от города, и поселился в нём один.

— Здесь, — думал он, — я буду недосыгаем. Здесь не будет ни земства, ни кооперации, ни трёх партий. Здесь у меня останется только мой внутренний мир, моё сокровенное. Я буду жить воспоминаниями. И, главное, мне будут сниться сны. Сны, ниспосланные человеку богом. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть: Москву, Кремль, крестный ход, государя!

В первую же ночь Фёдору Никитичу приснилась тайга. Она стояла вокруг него стеной, чёрная, бесконечная, глухая, и с кедров ему на голову падали шишки. Шишки падали размеренно, как капли из крана, и каждая попадала точно в

темя. Фёдор Никитич проснулся в холодном поту.

Он помолился богу, указав ему, что, по-видимому, произошла досадная неувязка и сон, предназначенный для какого-нибудь кедрового промышленника из Нарыма, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора.

Успокоенный, он снова заснул. Но вместо Успенского собора увидел Барабинское болото, а посреди болота — кочку, а на кочке — бородатого кержака-старовера в зипуне, который молча смотрел на него и крестился двумя перстами.

И с тех пор уже каждую ночь Фёдора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же сибирские сны. Снились ему: тайга, кедровые шишки, морозы в сорок градусов, когда плевок замерзает на лету, Барабинские болота, комары размером с воробья, бородатые кержаки, медведи, бурундуки, нерпа, омуль, пельмени, Ермак, Енисей, маслоартели, ямщики, Байкал и снова тайга. Как-то раз ему приснилось, что он ловит налима в проруби на Иртыше. В другой раз — что он едет на собачьей упряжке из Якутска в Верхоянск с тюком пушнины. Однажды ему приснился сам Потанин. Потанин сидел у костра в тайге, грел руки и говорил ему: «Ну вот, Фёдор Никитич, дожили. Вы теперь тоже сибиряк». Хворобьев проснулся с криком.

Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть тайгу. Ему хотелось видеть Москву. Хоть что-нибудь московское! Хоть Сухареву башню! Хоть Охотный ряд! Хоть московскую

берёзку, одну, на Воробьёвых горах, с соловьём на ветке! Но ничего этого не было. Сибирь ворвалась даже в сны москвича.

— И берёзы! — закончил Хворобьев плачущим голосом. — Берёзы тоже снятся! Но какие! Не наши, не московские, не тургеневские! Сибирские! В колке, посреди болота, кривые, как кочерга! И под каждой сидит кержак!

— Ваше дело плохо, — сочувственно сказал Остап. — Как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живёте в Сибири, то и сны у вас должны быть сибирские. Это закон природы. Вы же сами по утрам что видите в окно? Обь. Тайгу на том берегу. Вот она к вам ночью и приходит. Вы, Фёдор Никитич, слишком долго здесь прожили. Вы обсибирились.

— Что же делать? — простонал Хворобьев. — Как избавиться от этих кошмарных видений?

— Я вам помогу, — сказал Остап. — Мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейдю. Это пустяки. Главное — устранить причину. Главной причиной, конечно, является само существование Сибири. Но в данный момент я её устранить не могу. У меня просто нет времени. Придётся ограничиться полумерами. Повесьте над кроватью вид Москвы. Ешьте на ночь московские калачи. Если калачей нет — ешьте что-нибудь круглое. И не смотрите в окно на Обь.

— Я пробовал калачи, — горестно сказал Хворобьев. — Мне после калачей приснилось, что я пеку их в Нарыме для ссыльных в 1895 году.

Он вдруг понизил голос и оглянулся на дверь, хотя в домике, кроме него, никого не было.

— А на прошлой неделе ко мне приходили молодые люди. Двое. В чёрных рубашках, с портупеями. Очень вежливые. Из Российской фашистской организации. Собирали пожертвования на национальное возрождение. Говорили: «Скоро, дедушка, кончится эта масонская республика, и будут вам правильные сны. Русские. Московские». Я им дал три рубля и выписал их газету, харбинскую, «Наш путь». Думал, может, поможет.

— И что?

— В ту же ночь мне приснилось, что я голосую на выборах в Харбинскую городскую думу. — Хворобьев закрыл лицо руками. — Тайно! Равно! Прямо! И бюллетень у меня — на берёсте!

Остап сочувственно покивал. Про себя он отметил, что молодые люди в чёрных рубашках добрались уже и до домиков над Обью, но вслух ничего не сказал.

— Насчёт причины вы не беспокойтесь, — сказал он. — Я её устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить. А пока что у меня к вам, почтеннейший Фёдор Никитич, просьба.

И, присыпая свои слова комплиментами по адресу хозяина, Бендер объявил ему о цели своего прихода.

— Небольшая увеселительная прогулка с друзьями, милейшими людьми. Лёгкая поломка. Необходимость ремонта.

И, между прочим, господин попечитель, — Остап понизил голос, — мне самому сегодня ночью снился государь. Выходил из Успенского собора. А рядом с ним граф Фредерикс. Такой, знаете, в мундире.

— Боже! — воскликнул Хворобьев, хватая Остапа за руку. — Какой вы счастливый человек! Москвич?

— Коренной, — сказал Остап. — С Арбата.

Одуревший от тяжёлых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку с Арбата воспользоваться сараем. Он набросил поверх подштанников пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор.

— Так, значит, можно надеяться? — спрашивал он, семена за своим ранним гостем.

— Не сомневайтесь, — небрежно отвечал командор. — Как только Сибири не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите.

Через полчаса Сайгак-ага был спрятан в сарае Хворобьева и оставлен под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.

5.

Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города по Николаевскому проспекту.

Утро было ясное и тихое. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны. Человеку с неотягчённой совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробок спичек фабрики «Сибирь», на котором изображены бело-зелёный флаг и надпись «Покупай сибирское!», полюбоваться на свежую пачку папирос «Ермак» и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.

Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. В время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами в маркизетовых платьях.

Город украшался. По Николаевскому проспекту, на столбах и на балконах, висели бело-зелёные флаги. Через улицу, от дома к дому, были натянуты гирлянды из пихтовых веток. На фасаде Коммерческого клуба рабочие прибавляли огромный портрет пожилого человека с седой бородкой клинышком, в пенсне, с добрым и усталым лицом, и надпись: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!»

— Это кто? — спросил Балаганов.

— Это, Шура, Вологодский, — сказал Остап. — Президент. Тот самый, который обещает счастье за углом. Сегодня, по-видимому, он приехал в Новониколаевск лично.

Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел взбудораженный вид, словно только что выскочил из горящего здания, успев спасти от огня лишь мольберт и ящик.

— Простите, — звонко сказал он. — Тут только что должен был пройти господин президент. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?

— Мы таких никогда не встречаем, — грубо сказал Балаганов.

Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше.

Не успел Остап поправить шарф, как прямо на него выскочили два человека с чёрными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно разные люди. Один из них, по-видимому, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем кержака-старовера в живописи. Другой, напротив, был брит, худ, в берете и в очках, и держался, видимо, взгляда, что художник должен быть похож на парижанина.

— Простите, — сказали они хором. — Президент не про-

бегал?

— Пробегал, — сказал Остап. — Туда.

И указал наугад.

Художники умчались. Но за ними уже бежали другие. Они бежали поодиночке и группами, с мольбертами, этюдниками, папками, рулонами холста и подрамниками под мышкой. Бежали старые и молодые, бородатые и бритые, в блузах, в толстовках, в пиджаках и в беретах. Один бежал с треножником для фотоаппарата. Другой нёс на голове пустую раму в золотом багете. Третий катил перед собой тачку, на которой лежало что-то большое, накрытое мешковиной.

— Что случилось? — спросил Остап у одного из бегущих, пожилого человека в пенсне, который отстал от остальных и остановился перевести дух. — Вы все за президентом?

— За ним, — пропыхтел пожилой. — Общественные работы, понимаете ли. По программе помощи безработным. Губернское земство заказало две тысячи портретов президента Вологодского. Для школ, для управ, для волостных правлений, для народных домов и для изб-читален. По три рубля за портрет. А за портрет с натуры — по шесть! Вдвое! А президент в городе один день. Открывает новый элеватор. Вот мы и бегаем. В губернии восемьдесят безработных художников. А он один. И ему шестьдесят восемь лет. Но он очень быстро ходит.

— Вы бы попросили его посидеть, — посоветовал Остап.

— Просили. Он сказал, что у него нет времени. Что у него

в одиннадцать элеватор, в двенадцать дамба, в час обед с кооператорами, а в три — поезд на Томск. Он предложил, чтобы мы писали его по газетным фотографиям. Но по газетным фотографиям — три рубля. А нам надо шесть.

6.

Остап и Балаганов пошли дальше, туда, откуда доносился гул. Гул шёл со стороны Соборной площади. Там, у собора Александра Невского, былолюдно, как на ярмарке.

На площади, на деревянных помостах, на скамейках, на складных стульях, а то и просто на земле, сидели и стояли художники. Перед каждым был мольберт, на каждом мольберте — портрет. И на каждом портрете был изображён президент Сибирской республики Пётр Васильевич Вологодский.

Но как изображён!

Кризис, обрушившийся на Сибирь, обрушился и на искусство. Две тысячи одинаковых портретов, по три рубля штука, не могли прокормить восемьдесят художников. Чтобы заказ достался именно тебе, нужно было выделиться. А выделиться, когда пишешь одного и того же человека в одной и той же бородке, в одном и том же пенсне, — задача почти неразрешимая. И сибирские художники разрешали её кто как мог.

Здесь был Вологодский в манере Сурикова: в кольчуге, на струге, с бердышом в руке, в виде Ермака, покоряющего Сибирь. Ермак-Вологодский смотрел с холста строго и устало, сквозь пенсне.

Здесь был Вологодский-охотник: в малице, в унтах, с двустволкой за плечом, с лайкой у ног и с убитым соболем в руке. Собо́ль был нарисован лучше президента.

Здесь был Вологодский-кержак: с бородой до пояса, в зипуне, с лестовкой в руке, на фоне раскольничьего скита. Борода была своя, президентская, только удлинённая в четыре раза.

Здесь был Вологодский-ямщик, на облучке тройки, с кнутом и в треухе, а в санях за его спиной сидели три фигуры в шубах, подписанные «эсеры», «областники» и «эсдеки», и тройка мчалась по снежной равнине неизвестно куда.

Здесь был Вологодский-шаман, с бубном, в бурятском халате, на фоне Байкала, — работа молодого художника из Верхнеудинска, который объяснял всем, что президент, по сути, и есть шаман, потому что мирит духов трёх партий.

Здесь был кубистический Вологодский — работа молодого человека в берете, — составленный из трёх граней, повёрнутых в разные стороны, и подписанный «Президент трёх партий». Каждая грань была непохожа на президента, но все три вместе были похожи на него удивительно.

И здесь же, на тачке, которую давешний художник катил по Николаевскому проспекту, на почётном месте у самого собора, стоял бюст.

Бюст был в натуральную величину. Он изображал президента Вологодского с бородкой, в пенсне и в сюртуке. И он был целиком, от макушки до пьедестала, сложен из прошлогодних кедровых шишек.

Шишки были подобраны по размеру и по цвету. Тёмно-бурые шли на сюртук. Светлые, обветренные, почти се-

ребряные — на бородку и на седые волосы. Мелкие, незрелые — на брови и усы. Пенсне было сделано из двух колец кедровой смолы, застывшей до прозрачности. А глаза — из двух крупных отборных орешков, вставленных в шишки так, что президент смотрел на площадь с выражением мудрым и слегка удивлённым.

Возле бюста стоял автор — коренастый мужчина лет сорока, в брезентовой куртке, с руками, исколотыми шишками, и с лицом человека, сделавшего открытие.

— Шишка сейчас ничего не стоит, — объяснял он толпе, собравшейся вокруг. — Кризис. Кедровый орех никто не покупает, ни Лондон, ни Шанхай. Шишки в тайге лежат, гниют. Мужики их на растопку жгут. А материал благородный! Сибирский! Свой! Вечный! Мрамор итальянский, бронза американская, а шишка — наша! Покупай сибирское! Я уже двадцать бюстов заказал. Себе заказал, то есть себе сделал. Шишки мне бесплатно из тайги привозят, лишь бы забрал. Буду рассылать по управам. А там, где нет денег, можно в уплату брать тоже шишками.

— А если белки? — спросил кто-то из толпы.

Автор помрачнел.

— Белки — проблема, — признал он. — Один бюст в Колывани белки обглодали за ночь. Остался только бюстук. Председатель управы очень расстроился. Но я придумал. Буду пропитывать скипидаром.

— Это, Шура, — сказал Остап, разглядывая бюст с про-

фессиональным уважением, — и есть кризис жанра. Когда искусство не может прокормить художника, художник начинает лепить президентов из шишек. В Совдепии, говорят, лепят вождей из зерна, которого там не хватает. А у нас президента лепят из шишек, которых девасть некуда. Скульптура, Шура, — самое точное зеркало экономики.

7.

В эту минуту по площади пронёсся вздох, потом крик, потом топот.

— Идёт! Идёт! Президент!

Художники вскочили. Мольберты закачались. Кто-то уронил палитру. Кто-то наступил на соседа. Автор бюста из шишек загородил своё творение руками.

Из-за собора, со стороны Николаевского проспекта, быстрым шагом шёл невысокий пожилой человек в чёрном сюртуке, в мягкой шляпе, с седой бородкой клинышком и в пенсне. Это был президент Сибирской республики Пётр Васильевич Вологодский. За ним, отставая на два шага, поспевали губернатор, председатель городской думы, начальник земской милиции, секретарь с папкой и два журналиста, один из которых на ходу записывал что-то в блокнот, а другой на ходу фотографировал.

Президент шёл быстро, мелкими шагами, слегка наклонив голову, как ходят люди, которые всю жизнь куда-то опаздывают. Ему было шестьдесят восемь лет. Двенадцать из них он провёл на посту президента республики, которой, по мнению всех европейских газет, не могло существовать. За эти двенадцать лет он помирил три партии ровно четыреста одиннадцать раз — так подсчитал «Бурундук». Он выступил на тысяче открытий, юбилеев, похорон и съездов. Он пере-

резал сотни ленточек. И он устал. Но шёл он прямо и бодро, и в глазах его за пенсне было что-то, что заставило даже Остапа на мгновение подтянуться.

Восемьдесят художников ринулись к нему с мольбертами. — Господин президент! — кричали они. — Господин президент! Одну минуту! Только одну! С натуры! Анфас! В профиль! Три четверти! Господин президент!

Вологодский остановился. Он посмотрел на художников, на мольберты, на Ермака в пенсне, на охотника с соболем, на шамана с бубном, на кубистического президента трёх партий. Потом он посмотрел на бюст из кедровых шишек. Бюст смотрел на него глазами из орешков. Президент снял пенсне, протёр его платком, снова надел и посмотрел на бюст ещё раз.

Губернатор кашлянул и сказал, что машина ждёт.

Вологодский кивнул. Потом повернулся к толпе художников, приподнял мягкую шляпу и сказал — негромко, но так, что слышали все, — ту самую фразу, которую он произносил на каждом открытии, на каждом юбилее и на каждом съезде вот уже двенадцать лет:

— Трудовая Сибирь, господа, будет процветать.

И он быстро пошёл дальше, через площадь, мелкими шагами, наклонив голову. Свита поспешила за ним. Художники с мольбертами бросились следом. Президент дошёл до края площади, где на углу двухэтажного каменного дома висел свежий, вчера только прибитый к приезду гостя плакат:

«ПРОЦВЕТАНИЕ — ЗА УГЛОМ!», и свернул за этот угол.

Когда художники, толкаясь и роняя этюдники, добежали до угла и заглянули за него, там уже никого не было. Только отъезжал, поднимая пыль, чёрный президентский автомобиль, единственный «Паккард» в губернии, не отобранный банком, потому что был куплен на казённые деньги и за наличные.

Восемьдесят художников стояли на углу и смотрели вслед.

— Ну вот, — сказал Остап, который вместе с Балагановым тоже добежал до угла. — Теперь всё ясно, Шура. Прощетание действительно за углом. Только оно туда всё время убегает.

— А как же мы? — спросил пожилой художник в пенсне, тот самый, с которым Остап разговаривал на проспекте. — Как же портрет с натуры? Шесть рублей!

— Пишите с натуры угол, — посоветовал Остап. — Угол, за которым прощетание. Это будет символично. Земство купит.

И, к его удивлению, художник задумался всерьёз.

8.

Москательная лавка «Краски, олифа, кисти. Т. Шмаков» помещалась на Базарной площади, в полуподвале, и пахла так, как пахнут все москательные лавки мира: олифой, скипидаром, сухой охрой и надеждой на ремонт.

Хозяин, сам Т. Шмаков, тощий человек в фартуке, измазанном всеми цветами радуги, встретил покупателей без восторга.

— Краски нет, — сказал он сразу, прежде чем Остап успел открыть рот. — Всю краску выбрали. Президент же приехал. Вся губерния неделю красила. Заборы красили, вывески красили, флаштки красили, трибуны красили. Кончилось всё. Красного нет. Синего нет. Жёлтого нет. Охры нет. Сурика нет. Даже чёрного нет — чёрную забрали молодые люди в чёрных рубашках, у них знамёна.

— Что же есть?

Шмаков вздохнул и отодвинул занавеску в углу. За занавеской стояли две бочки.

— Белая, — сказал он, указывая на одну. — И тёмно-зелёная. — Он указал на другую. — Флажная. Остатки от флагов. Её губернская управа заказала на сто флагов, а нашили девяносто, ткани не хватило. Вот и осталось.

Остап посмотрел на бочки. Потом на Балаганова. Потом снова на бочки. И лицо его медленно озарилось той свет-

лой улыбкой, какой улыбаются полководцы, увидевшие слабое место в обороне противника.

— Обе, — сказал он. — Мы возьмём обе.

9.

Перекрашивали весь день, в сарае Хворобьева, при открытых воротах.

Работой руководил Остап. Он начертил мелом на боках Сайгака-аги диагональ — от правого верхнего угла к левому нижнему — и объяснил:

— Флаг Сибирской республики, господа. Верхний правый треугольник — тёмно-зелёный, это тайга. Нижний левый — белый, это снег. Так утверждено Учредительным собранием девятнадцатого года. Каждый школьник знает. Козлевич, вам доверяется тайга. Вы с ней лучше знакомы. Балаганов, вам — снег. Паниковский, вам — кисть номер три и та часть радиатора, которую никто не увидит.

Козлевич красил благоговейно, мелкими мазками, разговаривая с машиной. «Потерпи, Сайгак-ага. Сейчас будешь красивый. Как флаг. Тебя все уважать будут». Балаганов красил размашисто, обрызгав белым свою новую стетсоновскую шляпу и бороду Козлевича. Паниковский красил медленно и с обидой и всё время пытался выяснить, сколько стоит краска и нельзя ли продать оставшуюся.

К вечеру Сайгак-ага стоял посреди сарая обновлённый. Он был теперь двухцветный: правый верхний треугольник каждого борта — тёмно-зелёный, левый нижний — белый, а между ними — ровная диагональ, проведённая Остапом по

мелу. Радиатор был белый. Капот — зелёный. На дверцах, поверх старого покрашенного «Эх, залётная!», красовались аккуратные бело-зелёные треугольники. Машина стала похожа на флаг, брошенный на старого верблюда.

— Кто станет задерживать машину цвета государственного флага? — сказал Остап, обходя Сайгака-агу со всех сторон. — Это всё равно что арестовать флаг. А флаг, господа, в правовом государстве арестовать нельзя: для этого нужно постановление думы, а дума в отпуске до осени. Кроме того, телеграмма мистера Пибоди ищет машину зелёную. А наша — бело-зелёная. Формально приметы не совпадают. А в правовом государстве, господа, формальности — это всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.